



КОТИК ЛЕТАЕВ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КОТИК ЛЕТАЕВ

»ЭПОХА«

ПЕТЕРБУРГ

1922

15-я Государственная Типография, Звенигородская 11

Р. Ц. № 949.

Напечатано в количестве 5000 экз.

*Посвящаю повесть мою той,
кто работала над нею вместе
со мною —*

— посвящаю Асе ее.

— «Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шопотом... — что когда вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете»...

(Л. Толстой: «Война и мир». Том II-й).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь, на крутосекущей черте, — в прошлое я бросаю немые и долгие взоры...

Мне — тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять...

Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы — друг с другом беседуем; мы — понимаем друг друга.

Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих лет до крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных ущелий — сбегает Грядущее; в них ледник изольется опять: водопадами чувств.

Мысли этого мига пронутся мне в догонку лавиной; и в снежном крутне померкнет шакое мне близкое, над го-

ловою висящее небо: изнемогу я над пропастью; [путь нисхождения страшен...

Я стою здесь, в горах: так же я стоял, среди гор, убежав от людей; от далеких, от близких; и оставил в долине — себя самого, протянувшего руки... к далеким вершинам, где: —

—каменистые пики грозились; вставали под небо; перекалились друг с другом; образовали огромную полифонию: творимого космоса; и тяжковесно, отвесно — громоздились громадины; в оскаль провалов вставали туманы; мертвоенно реяли облака; и — проливались дожди; бежали издали быстрые линии пиков; пальцы пиков протягивались, лазурные многозубья истекали бледными ледниками и нервными, бледные линии гребнились повсюду; жестикулировал и расставлялся рельеф; пенились, проливались потоки с огромных престолов; и говор громового голоса сопровождал меня всюду: по часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти, камни, кладбища, деревеньки, мосты; пурпур трепаных мхов кровянил все ландшафты; крутне мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин; и — падали: между водою и солнцем; обдавал танцующий

пар; начинал хлестать мне в лицо; облако падало под ноги: в космы потока; пряталась бурно бившая пена под молоком; но под ним все: — дрожало, рыдало, гремело, стенало и пробивалось в редеем молоке теми же водными космами...

Я стою здесь, в горах: и потоки все те же —

— с на краю их обсевшими старыми, деревянно резными домами подножной деревни и с церковною колоколенкой; «клянчат» звонкие колокольца коров неугомонно и весело — в серочерном, в обсвиспанном, вепром облизанном мире, где бросаются сосны приступом на чистейшие ледники, чтоб... разбиться о стену; вот подбросилась последняя сосенка; и — повисла; вон бегущие ветры в ветвях разрешаются в свисты под черным ревом утесов; вон — горпанный фагот... меж утесами... углубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серых громад; вдруг почудятся звуки отсюда: серебристых арфистов, цитристов; там — алмазится снег; там, отсюда — посмотришь тот самый (а кто — ты не знаешь); и — тем самым взглядом (каким — ты не знаешь) посмотришь, прорезав покровы природы; и — отдаваясь в душе:

исконно-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда...

Я стою здесь, в горах: меня ждет — нисхождение; путь нисхождения страшен...

.

Мысли этого мига пронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне потускнеет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью.

Через двадцать пять лет уже вырвется у меня мое тело...

.

Восхождение — благодатно: в нем укрыт счет стремнинам; в воспоминании, как не бывшие, — они стоят: вот и вот.

Здесь и здесь ты бывал: здесь и здесь. Как же ты не сорвался?

В воспоминании сам с собой говорю: — здесь, на крутосекущей черте: —

— «Под ногами все то, что когда-то болезненно из тебя выросло и что было тобою;

— «что мертвым камнем отваливалось и твердилось утесами...

— «Природа, тебя обстающая, — ты; среди ея угрюмых ущелий ты мне виден, младенец...

— «Ты, как я: ты — еси; мы друг в друге — узнали друг друга: все, что было, что есть и что будет, оно — между нами: самосознание — в объ-
ятиях наших»...

.

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза, и сломало все — до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мертвые листья; смысл есть жизнь: моя жизнь; она — в ритме годин: в жестикуляции, в мимике мимо лепящих событий; слово — мимика, танец, улыбка.

Понятия — водометные капли: в непрерывном кипении, в преломлении смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира; объяснение — радуга; в танце смыслов — она: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле, — нет радуги...

.

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.

Вижу там: пережитое — пережито мной; только мной; сознание детства, — сместись оно, осиль оно тридцатидвух-

летие это, — в точке этого мига детства узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они опвалились от древа: и невнятица слов вокруг меня — шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной — первое сознание детства; и мы — обнимаемся:

— «Здравствуй ты, странное!»

1915 г. Октябрь.

Гошенен — Амспэг — Глион — С. Морис.

Глава первая.

БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ.

Час шоски невыразимой...

Все — во мне... И я — во всем.

Ф. Тютчев.

«Ты — еси».

Первое «ты — еси» схватывает меня
безобразными бредами; и —

— какими то
стародавними, знакомыми искони:
невыразимости, небывалости лежа-
ния сознания в теле, ощущение ма-
тематически точное, что ты — и
ты, и не ты, а... какое то набухание
в никуда и ничто, которое все равно
не осилить, и —

— «Что это?»...

Так бы я сгустил словом неизречен-
ность восстания моей младенческой
жизни: —

— боль сидения в органах; ощу-
щения были ужасны; и — беспредметны;

нем не менее — стародавни: ископно-знакомы: —

— не было разделения на «Я» и «не — Я» не было ни пространства, ни времени...

И вместо этого было: —

— состояние натяжения ощущений; будто все-все-все ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе крылорогими тучами.

Позднее возникло подобие: переживающий себя шар; многоочинный и обращенный в себя, переживающий себя шар ощущал лишь — «внутри»; ощущались неодолимые дали: с периферии и к... центру.

И сознание было: сознанием необъятного, обниманием необъятного; неодолимые дали пространств ощущались ужасно; ощущение выбегало с окружности шарового подобия — щупать: внутри себя... дальше; ощущением сознания лезло: внутри себя... внутри себя — достигалось смутное знание: переносилось сознание; с периферии какими-то крылорогими тучами несло оно к центру; и — мучилось.

— «Так нельзя».

— «Без конца»...

— «Перепягиваюсь»...

— «Помогите»...

Центр — вспыхивал: —

— «Я — один в не-
объятном».

— «Ничего внутри:
все — во вне»...

И опять угасал. Сознание, расширяясь,
бежало обратно.

— «Так нельзя, так нельзя: Помогите»...

«Я — ширюсь»... —

— так сказал бы мла-
денец, если бы мог он сказать, если бы
мог он понять; и — сказать он не мог;
и — понять он не мог; и — младенец кри-
чал: отчего, — не понимали, не поняли.

.

Образование сознания.

В то далекое время «Я» не был... —

— Было

хилое тело; и сознание, обнимая его,
переживало себя в непроницаемой необъ-
ятности; тем не менее, проникаясь со-
знанием, тело пучилось ростом, будто
гречкая губка, вобравшая в себя воду;
сознание было вне тела; в месте тела
же ощущался громадный провал: созна-
ния в нашем смысле, где еще мысли не

было, где еще возникали... —

— (если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях и если бы в это темное место вошло полноумие их и осветило б мне тело; если бы повернуться мне взором в себя и осветить мне себя; — то увидел бы я: наше небо; облака там бегут на громах в моем небе духовно-душевности белоходным изливом; а излив — ветвится, ветвится; и — листится; раскидается мыслями все; и это все отражается: в небе над нами; оттого то оно говорит; и оттого оно — ведомо...) —

— где еще мысли не было, где еще возникали мне: первые кипения бреда.

.

Образовались мне накипи: накипала мне теплота; и я мучился красным исжаром; перекипало сознанием облитое тело (зашипают пузырьчатой пеною кости в кислотах); и накипел... первый образ: закипела в образах моя жизнь; и возникали на накипях накипи мне: —

—предметы

и мысли...

.

Мир и мысль — только накали: грозных космических образов; их полетом пульсирует кровь; их огнями засвечены мысли; и эти образы — мифы.

Мифы — древнее бытие: материками, морями вставали когда то мне мифы; в них ребенок бродил; в них и бредил, как все: все сперва в них бродили; и когда провалились они, то забредили ими... впервые; сначала — в них жили.

Ныне древние мифы морями упали под ноги; и океанами брегов бушуют и лижут нам тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них; возникало «Я» и «Не — Я»; возникали отделимости... Но моря выступали: роковое наследие, космос, врывается в действительность; ищутно прятались в ее клочья; в беспокровности таяло все: все-все ширилось; пропадали земли в морях; изрывалось сознание в мифах ужасной праматери; и потопы кипели.

Строилась — мысль-ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего под ноги мира до... нового мира.

Роковые потопы бушуют в нас (порог сознания — шаток): берегись, — они хлынут.

Мы возникли в морях.

В нас мирь — морей: «Матерей»;
и бушуют они красноярými сворами
бредов...

Мое детское тело естѣ бред «матерей»;
вне его — только глаз; он — пузырь
на летящей пучине; возникнет и... нет
его; я одной головой еще в мире: ногами —
в утробе; утроба связала мне ноги: и
ощущаю себя — змееногим; и мысли мои —
змееногие мифы: переживаю питан-
ности.

Пучинны все мысли: океан бьется в
каждой; и проливается в тело — косми-
ческой бурею; восстающая детская
мысль напоминает комету; вот она в
тело падает; и — кровавится ее хвост;
и — дождями кровавых карбункулов изли-
вается: в океан ощущений; и между
телом и мыслью, пучиной воды и огня,
кто то бросил сразмаху ребенка; и —
спрашно ребенку.

.

— «Помогите»...

— «Нет мочи»...

— «Спасите»...

.

— «Это, барыня, рост»

.

— «Помогите»...

— «Нет мочи»...

— «Спасите»...

.

Так кричатъ не умеет младенец (так кричатъ будет после он); змеи ползают— в нем, вокруг него; наполняют его колыбель; и — шипят ему в уши.

Этот шип слышал ты — в тихий час полудневный, когда все замирает, а солнце стреляет лучами...

Ты этот свист уже слышал: свист сосен.

.

Продолжаю обкладывать словом первейшие события жизни: —

— ощущение мне —

змея: в нем — желание, чувство и мысль убегают в одно змееное, громадное тело: Тигана; Тиган — душит меня; и сознание мое вырывается: вырвалось — нет его... —

— за

исключением какого-то пункта, низверженного —

— в нуллионы Эонов! —

— осилишь

безмерное...

Он — не осиливал.

.

Вот — первое событие бытия; воспоминание его держишь прочно; и — точно описывает; если оно таково (а оно таково), —

— до-телесная жизнь одним краем своим облажена... в факте памяти.

Старуха.

Первое подобие образаросло на безобразии моих состояний.

Не сон оно: сон есть то, от чего просыпаются; Я же... — еще не проснулся; действительность, сон не чередовались друг с другом в мне данном мире. Самая данность стояла тяжелым вопросом...

Непробудности мне роились до яви —

— в

кипениях я и жил и боролся! —

— непробуд-

ности, неподобные снам...

Нет, не сны они, а — сказал бы я —

— под-

сматривания себе за-спину; и — желание пронуться с места; не носимости в вихрях бессмыслицы, развиваемой тысячекрыло, мгновенно и распадающейся в тысячи тысячекрыло летящих смерчей, — не такие носимости в «Я» (с внутри его лежа-

щим пространством), а... — движение в чем то: меня самого (мне пространство сложилось уж)... —

— Тронься я — начиналось, слагалось — более всего за спиной: что то такое; оно — не было мною, а было — такое огнёвое, красное: шаровое и жаровое; словом — старухинское: почему? Этого сказать я не мог.

Безобразие строилось в образ: и — строился образ.

Невыразимости, небывалости лежа-ния сознания в теле, ощущение, что ты — и ты, и не ты, а какое то набухание, переживалось теперь приблизительно так: —

— ты — не ты, потому что рядом с тобой старуха — в тебя полувлипла: шаровая и жаровая; это она набухает; а ты — нет: ты — так себе, ничего себе, не при чем себе...

— Но все начинало старушиться. Я опять наливался старухой: наливался так дряблый зоб индюка — в ярkokрасные пучности; пропятие, натяжение в окружающем, в глотающем, в лезущем — в суетном, в водоворотно пусном — оказывалось: незримо-лежа-

щим, припавшим, сосущим; стоило тебе тронуться, как оно, лежащее рядом и откровенно старушечье —

— опрометью кидалось прочь; на мгновение спановилое мне зримо: —

— будто таяла сама тьма огневými прорезями: молнийный многоног огнерогими спаями распространялся и бежал в исколопой, черной тверди... —

— тогда вспыхивал ярый шар и... —

— в красный мир колесящих карбункулов распадалась темнота...

.

Я не знаю, когда это было, но я... подсмотрел ее: у себя за спиной, —

— когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину: из ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее белокаленная голова с жующим ртом и очень злыми глазами; я несся в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала — мне в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах... —

колеса... —

— Сам я был колесом.

.

Думаю, что «старуха», — какое либо из вне-телесных моих состояний, не желающих принять «Я» и живущих: глухою, особою, стародавнею жизнью; эта жизнь прорастает порою: у впадающих в детство старух, сумасшедших; и — носится по июльским ночам грозowymi зарницами; плевелы ее шелестят в пыли жизни:

Парки бабье лепетанье...

Жизни мышья бегопня...

Сплетница мне и теперь напоминает «старуху»: в ней есть что-то «мистическое»...

Горит, как в огне.

Первый сознательный миг мой есть — точка; пронизает бессмыслицу он; и — расширися, он становится шаром, а шар — разлетается: бессмыслица, пронизая его, разрывает его...

Стаи мыльных шаров вылетают из легкой соломенки... Шар — вылетит, подожит, проиграет блеском; и — лопнет; капелька вязкой жижи, раздутая воздухом, заиграет светом мира... Ничто, что-то, и опять ничто; снова что-то;

все — во мне, я — во всем... Таковы мои первые миги... Потом —

— вспыхнули едва приметные светочи; стал слезать с меня мрак (как со змееныша кожа змееныша); ощущения отделялись от кожи: ушли мне под кожу: выпали чернородные земли —

— Кожа мне стала, как... свод: таково нам пространство; мое первое представление о нем, что оно — коридор... —

— Мне впоследствии наш коридор представляется воспоминанием о времени, когда он был мне кожей; передвигался со мною он; повернись назад — он сжимается сзади дырой; впереди открывается просветом; переходики, коридоры и переулки мне впоследствии ведомы; слишком ведомы даже: а вот — «я»; а вот — «я»...

Комнаты — части тела; они сброшены мною; и — висят надо мной, чтоб распаться мне после и стать: чернородом земли; тысячелетия строю я внутри тела; и бросаю из тела: мои странненькие здания; —

— (и ныне: — в голове я слагаю: храм мысли, его уплотняя, как... череп; я сниму с себя череп; он будет мне — купо-

лом храма; будет время: пойду по огромному храму; и я выйду из храма: с той же легкостью мы выходим из комнаты).

.

Ощущения отделялись от кожи: она стала — навислостью; в ней я полз, как в трубе; и за мною — ползли: из дыры; таково вхождение в жизнь... —

— Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро открылась мне: детская комната; сзади дыра заростала, переходя — в печной рот (печной рот — воспоминание о давно погибшем, о старом: воеет ветер в трубе о довременном сознании); между дыр (моим прошлым и будущим) пошел ток перегоняющих образов: с'еживались, распространялись, переменялись, метались и, обливая меня кипятком, в меня влипали они (их остатки — стенные обои: и по ночам они гонятся мне, как прогоняется звездное небо)... Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпадал сзади: змееногий, усабый он потом перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а другой — позже встрепился: на обертке полезнейшей книжки «Вымершие чудовища»; называется он «динозавр»; говорят, — они вымерли;

еще я их встречал: в первых мигах сознания.

Вот мой образ вхождения в жизнь: коридор, свод и мрак; за мной гонятся гады... —

— этот образ родственен с образом странствия по храмовым коридорам в сопровождении быкогового мужчины с жезлом... —

.

Врезал мне это все голос матери:
— «Он горит, как в огне!»

Мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел: дизентериею, скарлатиной и корью: в то именно время...

Доктор Дорионов.

Помню комнатку: в ней предметов не помню; но — беспорядок во всем; все — раскидано, разворочено, взрыто, как... в душе моей — затрепетавшей, встревоженной, вспугнутой, потому что... —

— бабушка там, потрясаемая испугами, но испуги таят от меня и меня заражая испугами — посиживает и набивает себе папиросы: без чепчика, лысая; морщится ее лоб, когда она, приподымая глаза над очками, поглядывает на меня исподлобья — в коричневатом капоте, выделяю-

щемся на стене — из табачного дыма; и капот, и лысина в слабых мерцаниях свечки мне не кажутся добрыми. Знаю я, — скверновато: даже совсем скверновато; а почему, — этого не могу я понять; потому ли, что открыто мне неприличие бабушки (вместо чепчика с лиловыми лентами вовсе голая голова), потому ли, что целая половина стены отсутствует вовсе: не четыре стены — три стены; четвертая — распахнулась своим темнодонным оском со множеством комнат —

— все комнаты, комнаты, комнаты! —

— в которые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; суть же не в креслах, а так сказать в пропняжениях материи воздуха и в открытой возможности ощутить холодноватый бег сквозняка из комнаты в комнату, увидеть прыжок в зеркало... кресла. Словом — скверные комнаты!

Между тем: сознавая немыслимость там водиться, кто то все же наперекор всему там завелся; и — безалаберно

возится среди кресел—посиживаясь, похаживает, погромыхивает и правит — пустопорожний свой шаг, едва уловимый отсюда, по дальним пустотам...

Если быть вовсе тихим, то шаг не захочет приблизиться, потому что привольней ему там спучать одному, чем помить нас в ужасных возможностях переживать наступление шага; и—главное: чувствовать—неотделенность стеною от шага; можно в таком положении жить; двигаться тоже можно, пожалуй; но—без единого стука; стукни; и — примется он: пристукивать, притоптывать, крепнуть, перерождаясь в грохоты.

Чувствую невозможность дальнейшего пребывания без единого звука: хочу издать звук; бабушка, задрожав, как осинный лист, мне грозитя рукою:

— «Этого нельзя: ни-ни-ни!»

Я—громко щелкаю: и—ай!—что я сделал!

Оно—совершается; оно уже совершилось, потому что он, кто там жил, вызываемый стуком, он — прёт уже; и он уже крепнет; издалёка-далека он мне отвечает на вызов; и — ти:-те:-та:-то:-ту!—вытоптывает он мне: тот самый (а кто, я не знаю)... Это было многое множество раз: из темноты перли гро-

хоты бесполового, сурового шага; если бы добежать до поспелки и если бы, завернувшись, уснуть, то ничего и не будет: все кончится; засыпая уже, буду слышать я разрушение грохота в тихий свист и похрапывание кого то, успокоительно спящего...

Поздно... —

—выбежал из чернош-
ного грохота мне
на встречу —

—весьма
прозаичный толстяк, с короткой шеей
блондин, здоровяк: поворачивал он брюш-
ком; на меня он поблескивал золотыми
своими очками; и — золотую бородкою; он
впоследствии появился и в яви: это был
Дорионов, Артем Досифеевич, доктор
мой; мне впоследствии говорили, что я
непрерывно болел; и в то самое время.
У доктора Дорионова, помню я, — были
огромных размеров калоши, подбитые
чем то твердым: и, попадая в перед-
нюю, производил ими грохот он; я всегда
его узнавал по громоносному топоту, по
огромной еноповой шубе, висящей в пе-
редней, и по резкому звонку во входную
дверь; перед его появлением у меня под-
нималась: ноющая ломота в ногах; он
прописывал рыбий жир; и при этом он

шлепал—себя по коленям, надсаживаясь
от добродушного хохота; кажется, раз-
водил на дому канареек; и когда слышал
пение—

влетит ласточка сизокрылая
под окном моим, под косящатым—

—по

заливался слезами он: с отцом игривал
в шашки, а над бабушкою он подшучивал
и утверждал, что мы живем не на шаре,
а—в шаре.

.

Думаю, что погоня и грохоты: пуль-
сация тела; сознание, входя в тело, пе-
реживает его громыхающим великаном;
события этого сна объяснимы мне так

И—думаю...—

И думаю...

— Переходы, комнаты, коридоры на-
поминают нам наше тело, прообразуют
нам наше тело; показывают нам наше те-
ло; это—органы тела... вселенной, кото-
рой труп—нами видимый мир; мы с себя
его сбросили: и вне нас он застыл; это—
кости прежних форм жизни, по которым
мы ходим; нами видимый мир—труп да-
лекого прошлого; мы к нему опускаемся
из нашего настоящего бытия—перераба-

пываешь его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше прошлое; прообразуют нам наше прошлое; это — органы... прошлой жизни...—

— переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни: в пещерный период; переживаю жизнь выдолбленных в горах чернотных пустот с бегающими в черноте и страхом об'ятыми существами, огнями; существа забираются в глубь дыр, потому что у входа дыр сперегут крылатые гадины; переживаю пещерный период; переживаю жизнь катакомб; переживаю... подпирамидный Египет: мы живем в теле Сфинкса; комнаты, коридоры — пустоты костей тела Сфинкса; продолби стену я... мне не будет Арбата: и — мне не будет Москвы; может быть... я увижу просторы ливийской пустыни; среди них стоит... Лев: поджидает меня...

.
Вообразите себе человеческий череп:—

—огромный, огромный, огромный, превышающий все размеры, все храмы; вообразите себе... Он встает перед вами:

ноздревапая его белизна поднялась выпоченным в горе храмом; мощный храм с белым куполом выясняется перед вами из мрака; неповторяемы кривизны его стен; неповторяемы его точеные плоскости; неповторяемы архитравы колонн его входа: колоссального, поченого рта; многозубоколонный рот — вход открывает безмерности сумраком оваянных зал: черепных отделений; каменистые пики встают в сумрак свода; переключаются гулким шумом костяные своды его; и — опускают объятия; и — образуют огромную полифонию творимого космоса; и тяжковесно, опвесно нисходящи уступы; падают взоры в оскалы провалов — многовидных дыр, — уводящих быстрою линией переходов в лабиринт полукружных каналов; вы выходите в алтарное место — над *ossis sphenodei*... Сюда придет иерей; и — ожидаете вы: перед вами — внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробиющую брешь в серо-черном, в обсвистанном, в ветром облизанном мире несутся: стены света, потоки; и крупными вопиющих, поющих лучей они падают: начинают хлестать вам в лицо:

— «Идет, идет: вот — идет» —

— и уно-

сятся под ноги космы алмазных потоков: в пещерные излучины черепа... И вы видите, что Он входит... Он стоит между светлого рева лучей, между чистыми гранями стен; все — бело и алмазно; и — смотрит... Тот Самый... И — тем самым взглядом... который вы узнаете, как... то, что отдавалось в душе: исконно-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда...

Голос:—

— «Я»...

Пришло, пришло, пришло: пришло — «Я»...

.

Вы представьте скелет: крестообразно раскинул он руки — кости; и — неподвижно простерт, чтоб... восстать в третий день... Вы представьте:—

— вы —

маленький-маленький-маленький, беззащитно низвергнутый в нуллионы эонов — преодолевать их, осиливать — схвачены черным свистом пустот и стремительным пунктом несетесь (это первая прорезь сознания: воспоминание его держит прочно и точно описывает); допелесная жизнь обнажена ужасно и мрачно; за вами несется старуха; и ураганом красного мира она протянула свои гигантские руки; а вы — беспокровны; вдруг —

полчок: вы — малюсенький-маленький
вдруг ударились о скелетное тело храма;
вы спасаетесь во внутренность храма;
и слышите, как разбиваются о него
океаны красного мира: там склонилась
старуха; она не может войти —

— вы представьте: вы входите; и — поднимаете голову: справа и слева симметрично бегущие своды ребер; изогнуты прихотливо их плоскости; встают перед вами, как память... о памяти; чудесные дуги скелетного храма; впереди — проход... к белому алтарю; и там — череп; из огромности гулких зал, среди белого великолепия выступов вы поворачиваетесь назад — к выходу; мир бредя горят там; изумление, смятение, страх овладевает: действительность, откуда вы выпали — и не мир.

И нахождение себя в храме подобно вопросу:

— «Как?...»

— «Зачем?»

— «Почему?»

— «Как сюда ты попал?»

Из алтаря проливается свет: это «Я», иерей, совершает там службы; и — воздевает он руки:

— «Я, Я».

Вы узнали Его.

Как он «Я» там стоит: и простирает навстречу — пречистые руки... Этот жест — жест захожего иерея — жест вздымаемых рук оппечатлели, конечно, надбровные дуги: по окончании светлой утpени Иерей уйдеи; вы его года не увидите... Он вернеися на родину...

Созерцание черепа странно: и он — память о памяти великолепного скелетного храма, выдолбленного нашим «Я» в скалах черного мрака; в храме тела — лежат планы храмов; и восстанеи, я верую, из храмовых обломков: храм тела.

Так гласит нам писание...

Созерцание черепа утешает, напоминает; и — смутно учит чему-то; жест надбровных дуг ведом нам; это жест окрыленного «Я», вставшего из гробовой покрывки, пещеры, чтобы некогда вознесиись; чтоб... вернуиись на родину...

Лабиринт черных комнат.

После первого мига сознания предстаюи: коридоры и комнаты —

— все

комнаты, комнаты, комнаты! —

— в кото-

рые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, в суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; множество немых кресел: под любым можно жить; все — мне ведомо; где то я проходил тут —

— может быть... внутри тела, ощущениями перебегая от органа к органу и охваченный проростающей жизнью, еще не ясно какою, но кажется... вырастающей; ее глухие наросты вытарчивали мне суровыми образами в глухонемой темноте; перебежал я от органа к органу и уходил в огромное материнское тело утробного мира... —

— странно ведомы стены, уводящие в неизмеримые глубины: уводящие к «матерям», где все образы тают в безобразном... —

— Коридоры и комнаты, в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но... кажется... креслами...; сознавая немисли-

мость здесь водиться, я завелся однако, наперекор всему, вздрагивая в глухонемой темноте; и действительность комнат восставала мне — оплощением расширения ощущений, отбежавших в «Я», и оставивших во все стороны следы свои: сны; из морей безобразия поднялись континенты; моря убежали под ноги; под полом бушевали они; угрожали разбить все паркетные: затопить меня.

Казалось: — в отдалении, среди комнатной анфилады, сидит моя бабушка; бегают нити на спицах (она вяжет чулок); и — бабушка мне грозитя среди скверных сквознячков, перебегающих из комнаты в комнату; далее — в глубине переходов еще бегают бесплощ; и гремит кто-то древний; все-то ломится он; все то ищет меня; в поропливых поисках правит он пустопорожний свой шаг: по дальним пустотам; он — чужой: Артем Досифеевич Дорионов, быкообразный, брюхатый — бегают в бесконечности лабиринтов; то подбегает он близко; а то отбегает — в неизмеримые дали ходов, где еще не обсохла действительность, и гад, дядя Вася, купается в грязи там. По ближайшим комнатам кто-то водит меня; молчаливо, сурово; кто-то светочем освещает мне путь, впоследствии становится

ясным: это мама иль няня проводят меня из коридора... в мою детскую комнатку...; вспоминаю я это шествие; мне казалось оно бесконечным; напоминало оно: шествие по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом —

— (я впоследствии видел изображения таких шествий; изображениями этими пестрят подземные гробницы Египта; и я видел ведущих: песбеголовых, быкоголовых мужчин с длинными жезлами в руках...)

Мне казалось: —

— переходы квартиры ведут к бездне мрака; и все там обрываются: далее — чернотные грохоты, по которым несется старуха, стреляя дождями карбункулов; (переживание это меня охватило однажды: при прохождении земли чрез комнату); я когда то там проносился; она мчалась за мною; меня выптащили из громов космических бурь; и — повели коридором; так тянулись века: все-то гнались за нами; странно было это суровое шествие по коридору квартиры — в сопровождении человекоподобного существа со свечой в руке.

.

Еще долго за мною протянута память туда — в лабиринт черных комнат, к чужому: все чужие — оттуда; еще долго спустя подозрительно я встречаю... гостей; а когда узнаю про Тезея и про быка Минотавра, то становится ясно мне: Артем Досифеевич — Минотавр; я же, щелкнувший в мрак пустых комнат, — Тезей.

Лев.

Среди странных обманов, туманно мелькающих мне, передо мной возникает страннейший: передо мною маячит косматая львиная морда; уж горластый час пробил; все какие то желтороды песков; на меня из них смотрят спокойно шершавые шерсти; и — морда: крик стоит:

— «Лев идет...»

.

В этом странном событии все угрюмотекущие образы уплотнились впервые; и разрезаны светом обмана маячивших мраков; осветили лучи лабиринты; посреди желтых, солнечных суш узнаю я себя: вот он — круг; по краям его — лавочки; на них темные образы женщин, как — образы ночи; это — няни, а около, в свете — дети, прижатые к темным подолом их; в воздухе — многоносое любопытство;

и среди всего—Лев—

— (Я впоследствии
видывал желтый песочный кружок—между
Арбатом и Собачьей Площадкой,
и доселе увидите вы, проходя от Со-
бачьей Площадки, обсаженный зеленою
круг; там сидят молчаливые няни; и —
бегают дети)...

.....
Образ этот—мой первый отчетливый
образ; до него—неотчетливо все; неот-
четливо—после; мутные, мощные, мрач-
ные, переменные миги мои мне рисуют
события, со мною не бывшие вовсе; мне
действительность города возникает
впервые гораздо позднее; но осколок ее
мне—тот желтый кружок, перекинутый
от... Собачьей Площадки... в мой мир ма-
рева: посередине желтого круга мы встре-
тились: я и лев.

.....
Мне отчетливо:—

— Лев есть Лев: не
собака, не кошка, не утка; смутно по-
мнится: льва я где-то уж видел; и видел—
огромную, желтую морду.

Да я знал ее прежде: я ждал ее...

Это событие встречи упреждает от-
четливо мне встречу с близкими ликами:
мамы, папы и няни... Среди образов снов

еще нет этих образов; есть их запахи, голоса, ощущение; есть движение с ними в пространстве: вот несут меня, переносят, укладывают, гасят свет, защищают от тьмы; переносящих не вижу я вовсе; и я знаю объятия; папа, мама и няня мне спрятали свои лики; сквозь объятия их мне просунуты все какие то полулюди: вот ужасный толстяк Дорионов, спаруха и гад дядя Вася; правда помнятся: тетя Дотя и бабушка: тетя Дотя протянута в зеркалах с выбивалкой в руке; бабушка — и грозна, и лыса. Больше образов нет...

Почему же лев мне знаком?

Я отчетливо помню, что —

— линии блестящих лавочек, солнце и желтая суша — куда то от'ехали перед львом; лев растет; и — заслоняет мне все; ужасаюсь я: рухнули все преграды меж нами; все, что пряталось, появилось — под солнцем. Покров солнца на мраке не защищает от мрака; солнце бросило в мрак желтый круг; и из мрака ночей повывезали на желтую сушу все дети и няни: отдохнуть от опасностей; и тогда то вот из желтеющей кучи песку, из под круга на круг вылезать стал на нас головастый

зверь, лев: и все снова — пропало; солнце спряталось; снялось желтое пятно круга; и няни, и дети снялись; все снялось: и продолжилась тьма.

Я впоследствии, четырех-пяти лет, проходил по кружку; и тогда вспоминал уже я, что мне снилось когда-то (когда — я не помню) —

— вот здесь встретил Льва я...

Через двадцать лет — через тридцать два года.

Через двадцать лет: —

— мне опчешливо кинуто снова: событие с «Львом»; углублено мне опчешливо; косматая морда опять предо мною; невероятности бреда мне врезаны в вероятное; сон стал фактом; понял я до конца: бреды — факты; и сны суть действительность; через двадцать лет сызнова Лев стоит предо мною.

Я любил рассказывать сны: поясняя свои миги сознания; и первые миги я вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно; научился я плавать в забытом; извлекать темnodонное: изучать его; в это время я много читал: о дне океанов и гадах;

палеонтология открывает мне свои тайны; я — естественник; мои товарищи — тоже; собираемся мы дружным, песным кружком; и забавляемся небылицами.

Помню я: уж весна; на носу экзамены; жарко; лаборатория опустела; темнеет; уж весенний вечер в окне; угасает жужжание электрической печи; бросаем репортмы; в прожженных тужурках идем к подоконнику; начинаются разговоры о снах; яркими красками рисую жизнь детства: старуху и гадов; говорю о кружке и о льве: о его желтой морде...

Товарищ смеется:

— «Позвольте же... Ваша львиная морда — фантазия.»

— «Ну-да: сон...»

— «Да не сон, а фантазия: рассказы...»

— «Уверяю вас: этот сон видел я.»

— «В том то и дело, что сна вы не видели...»

— «?»

— «Просто видели вы сан-бернара...»

— «Льва...»

— «Ну-да: «Льва...»

— «?»

— «То-есть «Льва» сан-бернара...»

— «Как так?»

— «Этого «Льва» помню я...»

— «?»

— «Помню желтую морду... не «Льва», а — собаки...»

— «??»

— «Ваша львиная морда — фантазия: принадлежит она сан-бернару, по имени, «Лев.»

— А откуда вы знаете?»

— «В детстве и я проживал около Собачьей Площадки... Меня водили гулять — на кружок; там я видел «Льва...» Это был добрый пес; иногда забегал на кружок он; в зубах носил хлыстик; мы боялись его: разбегались с криком...»

— «И вы помните крик «Левъ — идет?»

— «Разумеется помню...»

.

Мой кусок странных снов через двадцать лет стал мне явью... —

— (может быть, лабиринт наших комнат есть явь; и — явь змееногая гадина: гад дядя Вася; может быть: происшествия со старухой — пререкания с Афросиньей кухаркой; ураганы красного мира — печь в кухне; колесящие светочи — искры; не знаю: быть может...)

Товарищ смеялся:

— «Около Собачьей Площадки есть дом: сан-бернары не переводятся в этом

доме; около Собачьей Площадки и теперь они бегают; их же праотец — «Лев».

.

Очень скоро впоследствии, проходя по Толстовскому переулку, выходящему на «кружок», встретил я: желтоногого сан-бернара с шершавой, слюнявою мордою...

«Лев» продолжился — в нем...

Но душа глухо дрогнула:

— «Лев — идет: близко знаменье.»

В это время я читывал «Заратустру».

.

И — прошло лет двенадцать: тридцатидвухлетие отделило меня: от первого появления Льва и тогда в третий раз, появился он: вспал воочию и — угрожал мне, погибелью!..

Все таки.

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался к странному явлению «Льва»: в дальнем детстве, теперь и во время студенчества.

И — глаза мои расширялись; невидящим взором глядел я в пространство; толкали прохожие; качал головой собеседник: я отвечал невпопад; изумление, смятение, страх овладевали мной.

Я себе говорил: —

— «Действительность эта — не сон: но она — не действительность...»

— «Что все это: и — где оно было?»

— «Приходил детский лев: и опять, и опять.»

— «Ты с ним встретился...»

.

Явственно: никакой собаки и не было. Были возгласы:

— «Лев — идет!»

И — лев шел.

.

В это детское время сознание изобразимо мне так: провалился я; и — повис в черной древности: блистать в черной древности; иногда вокруг сны — дымят: и бегут лабиринты из комнат; и припадают к лицу; и узором обоев остановаются передо мною; и узором обоев прямо смотрят мне в душу; отступят: опять провалился; повис в черной древности; все отряхнуто — стены, кресла, предметы; все — грозно; все — пусто; действительность — дыра в древнем мире; миг, — и снова они: лабиринты из комнат; и из всех лабиринтов глядится: тот самый; а кто — ты не знаешь: и

пьянет к нам руки; до ужаса узнанной бурей несется без слов:

— «Вспомни же: это я — старая старина...»

Страшное роковое решение уже принято: не избежать, не осилить: за ним! —

— все! —

— туда!.. —

А куда, я — не знаю.

.

Ярче всего мне четыре образа: эти образы — роковые: бабушка и лыса, и грозна; но она — человек, мне исконно знакомый и старый; Дорионов — толстяк; и он — бык; третий образ есть хищная птица: старуха; и четвертый — Лев: настоящий лев; роковое решение принято: мне жить в черной древности; мне глядеться в то самое (воп во что, я не знаю)... И оно надвигается; восстает; и окружает меня лабиринтами комнат; среди этого лабиринта — я; более — ничего.

Странно было мне это стояние посредине; или вернее: мое висенье ни в чем; и кругом — они, образы: человека, быка, льва и... птицы. Думаю, что они — мое тело; черная мировая дыра — мое темя; «я» в него опускаюсь:

не сошел еще — мучаюсь; распространенный по космосу, я ужасно сжимаюсь; переживаю я погружение себя в тело, как... опускание в мировую дыру; но решение принято: час жизни пробил; и выпуская меня из родительских рук, Кто-то давний стоит там за «Я»; и — все тянет мне руки: из за багровых расколов; эти руки, желтея, мрачнеют; и — переходят во тьму.

— «Я — приду».

Образование действительности.

Как в пространствах грохнувший метеор, —

— издаlekà, неотчетливо, говорливо, рассыплется, как горох по паркету:

— «Да воскреснет Бог!»

— «Ха-ха-ха...»

— «Барин...»

— «Право...»

— «Чудак...»

— «Михаил Васильич, оставьте!»

— «И расточатся врази его»...

— «Ха-ха-ха...»

— «Чтой-то, право...»

— «Математики, ученые, головы: там себе — шутят...»

— «Ха-ха...» —

— разорвется — все: стены, комнаты, полы, потолки; или: вгонится в темное отверстие безобразно-безвременного, как вгоняется мыльный пузырь в отверстие узкой соломинки; лопнет все: лопну я...

.

Мне открылось впоследствии (я — подросток уже в эту пору): Афросинья, кухарка, с Дуняшей, горничной — побранятся; и подымется: в кухне крик; папа выскочит из кабинета в гостиную, пробежит по столовой, передней; и — в кухню; там он примется:

«Отче наш... Иже еси на небесех...»

Или — примется он: «Да воскреснет Бог» —

— угомонять крикунью-кухарку, грызущую все бывало Дуняшу: и потрясенная текстом, молчит Афросинья; Дуняша смеется сквозь слезы: папа, мама и няня хохочут; Серафима Гавриловна с бабушкой угощаются табачком и разводят руками:

— «Математик, ученый, чудака...»

— «Что прикажете делать.»

Я же — падаю в обморок, потому что —

— «Я» и «все кругом» — связаны: ощущение строит мне окружение: — рас-

падают стены в чернотные бездны; папа, мама и няня вываливаются; а «Я» — без действительности; сотрясение ощущений мне обдувает все, точно пух одуванчика, уносимый от брежжущей свечки в пустотные ночи.

Я — нервный мальчик: и громкие звуки меня убивают; я сжимаюсь в почку, чтобы в тихом молчаньи из центра сознания вытянуть: линии, пункты, грани; их коснуться своим ощущением; и оставить меж них зыбкий след: перепонку; перепонка эта — обою; меж ними — пространства; в пространствах заводятся: папа, мама и... няня. Помню: —

— я вырассивал комнаты; я налево, направо откладывал их от себя; в них — откладывал я себя: средь времен; времена — повторения обоевых узоров: миг за мигом — узор за узором; и вот линия их упиралась мне в угол; под линией линия; и под днем — новый день; я копил времена; отлагал их пространством; здесь — в огромных обоевых букетах — время мчалось галопом; а у той стены — разрывался мне пульс его; я пульсировал временем; я пульсировал коридором, столовой, гостиной: коридорные, столовые времена!

Действительность —

— выгонялась из..
труб, как выгоняется мыльный пузырь
из тончайшей соломинки: действитель-
ность не текла, а надувалась и лопалась;
комнаты возникали мне; комнаты лопа-
лись; в комнатах — топали, хлопали, ло-
пались все предметы; и — таяла тетя
Дотя, —

— все еще она не сложилась: не оп-
лотнела, не стала действительной, а
каким-то туманом она возникала без-
молвно: между чехлов и зеркал; мне за-
висела тетя Дотя: от чехлов и зеркал,
между которыми —

— и слагалась она в ве-
личавой суровости и в спокойней-
шей пустоте, протягиваясь с воз-
детой в руке выбивалкой, с род-
ственным отражением в зеркалах,
с родственно задумчивым взором:
худая, немая, высокая, бледная, зыб-
кая — родственница, тетя Дотя; или
же: Евдокия Егоровна... Вечность...

Родственность — отражение моих со-
стояний сознаний (в данном случае: чех-
лов пустой комнаты); отражение было
так хрупко, что приближение шага от-

рыхивало тетью Дотю теньями: по четырем углам комнаты...

Мне Вечность — родственна; иначе — переживания моей жизни приняли бы другую окраску; голос премирного не подымался бы в них; не спадали бы узлы крови; меня не считали бы отступником; и я не стоял бы пред миром с растерянным взглядом.

Комнаты.

Квартирой отчетливо просунулся внешний мир, —

— то есть, то —

— что от меня отвалилось и на чем лепучились сны, прилипая обоями к укрываемым комнатам; а сквозь них, из углов, пошел ток мрачной жизни, слагая мне будущих спутников: тетья Дотя в то именно время слагалась — в углу, на обоях, из теней; она еще не сложилась; и —

— ти-те-та-та-

то-ту —

— погромыхивал откуда то издали папа «Непапа»; старые ямы открыты, как... старые язвы; и этот папа Непапа — язвительный, клочковатый, нечесанный; изнутри он горит; а извне — осыпается пеплом халата; под запахнутой

полой халата язвип багрецом он; и он — огнедышащий: папа Непапа, как... Этна: остывает он; громыхая, он обнимает... нас: ураганом текущего.

Воспоминание об огнедышащем папе у меня сливается с воспоминанием о позднейших рассказах —

— папа свечкою поджег штору; штора вспыхнула: но никого не позвав, папа бросился из постели в пламенистые клóки — рвать и босыми ногами растаптывать; затоптав пламена, лег он спать; упрям входит прислуга и видит: часть стены обгорела; папа же — спит себе —

— настоящий пожарный!

Линии, светочи, жары отвердевали поверхностями предметов, и где не было никакого порога, — порог появлялся; верилось в иные, таимые комнаты среди не таимых, вот этих; потом обнаружились окна к ним — зеркала: тетя Доця связана с зеркалами; все бывало выглядит она на меня из зеркал — лицевым, бледноватым пятном.

С нянюшкой Александрой жили мы в правилах; была правилом комната; и жили мы в комнатах: в правильных комна-

тах, преодолимых и измеряемых, о четырех стенах; словом, жили не в трубах.

И заключили мы договор: —

— мне жить по закону: около угла, сундучка, — при часах; и слушать мне пиканье; здесь, на коврике, одолевались пространства; и за ковром, там —

— охватывал Анаксимандр: беспредельностью; —

— это

я кричал про него, по ночам, — всего одно только слово:

— «Афросим!»

— просто я перепутал: «афросюнэ» по гречески ведь безумие; а Афросинья служила в кухарках: в то именно время; старообразая, все бранилась она.

Папа ей говорил:

— «Афросинья молода —

«Не бранится никогда.» —

Или, скажет наш папа: —

— «Земля —

шар...»

Это — я понимал, как понимал вообще я круглоты, и их я боялся: ведь сам же я шарился; и папа — охватывал спирахом становяся папой Непапой, каким то Вулканом, посыпанным лишь для вида черной

золой сюртука; под ней все кипит: огнедышащий папа!

Все то он налезает на нянюшку (все сказали бы с шутками: а какие там шутки!) и грозитя извергнуться лавою меня сотрясающих слов:

«Не бил барабан перед смутным полком,

«Когда мы вождя хоронили».

Еще можно держаться мне в строе, когда скажет бывало он:

— «Вот сидит он на рогоже

«Бледный и немой» —

— это мне и понятно, и просто; даже — на пользу мне: сам я на коврике; сам я и бледен и нем, как бледна и нема моя нянюшка; немота сидящего на рогоже понятна; он сидит, как и я; и пребывает, как я, — он; на рогоже — одолевается и пространство, и время; за рогожею — рдяный мир.

Папа же тут занепапится; и — пригрозит старой яростью:

«Краски огненного цвета

«Брошу на ладонь,

«Чтоб предстал он в бездне света,

«Красный, как огонь!..»

— А я — я взреву, весь охваченный яркой рдяностью багрец излившего, рас- свирепевшего — косматого и очкастого

Папы, способного меня затащить в те миры, откуда, с опасностью жизни, был я вытащен трубочистом.

Нянюшка меня накрывает от папы, а я — я предчувствую: будет, будет нам с нянюшкой гибель от папы; и потом, когда папы уж нет, я пугливо оглядываюсь; вот он там на нас набежит; нянюшка в ужасе на меня принавалится, меня спасать: папа же — сорвет с меня нянюшку: затащит мне нянюшку, может быть... с ней описывать там в пространствах... колёса!

.
Переживание звука телесного голоса, как грохота бестолочи, переживание тела, как бездны, в которую рухнул ты —

— безобразно пухнуть и пучиться —

— вопи
посвященнейший образ: в произрастание жизни; вспомните, что говорят наши няни:

— «Это, барыня, рост».

Из сумятицы жизни.

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался назад, к первому мигу сознания; и — глаза мои расширялись; изумление,

смятение, страх овладевали мной; я — хватался за голову; я — говорил себе:

— «Действительность, где ты был, — и не мир».

Мне был мир — ощущением... даже не органов тела, а —

— бьющих, рвущих и странно секущих биений, в меня впаянных, меня тянущих за собой, развивающих во все стороны от меня крылорукие молнии пульсов; образом и подобием моего состояния может служить разве лишь изображение чудища, тысячерукого существа (сиамские статуэтки — вы помните?).

Таковы мои первые ощущения; а нахождение себя в ощущении было подобно вопросу:

— «Как?»

— «Зачем?»

— «Почему?»

— «Как сюда ты попал?» —

— То-есть: —

— бы-
ло сознание контраста, но — с чем? Была память... О чем была память? Что «Я» — «Я», — этому я дивился позднее. Наконец было знание, которое я не мыслю без опыта: у бесконечности есть предел; и стало быль: законечное; «за-

конечного» не было мне: детской комнаты, няни, мамы и папы — не возникало еще.

Законечное переживалось, как... прошедшая в ощущение память: о детском...

.

Мои детские, первые трепеты: трепеты ощущаемых мыслей-чувствий сознания; трепеты образования текучих миров, пламенных объятий вселенной (огонь Гераклита); трепеты развивались, как... крылья: думаю я, что «крылья» — подобия пульсов; окрыленный, трепещущий рост — существо человека; ангелоподобно оно; и мы все — крылоноги; и мы — крыло-руки. Конечности — отложения крыльев. Мои первые детские трепеты удивляют меня; удивляет все: что оно таково, каково оно есть; почему оно не текуче? Взмахни трепетом, как крылом, — перестроится все: будет тем, да не тем; а оно — не меняется (и впоследствии, уж привыкнув к действительности, все боялся я, что она утечет от меня и что буду я — без действительности: вне действительности разовью мир бред...). Ощущение уж меня не терзает: не кажется мерзостью; если ж все утечет, ощущение разовьет — во

все стороны свои крылья: и я стану
вращаться, терзаясь пустотами, ты-
сячекрылый, напоминающий изображения
сиамских богов, колесящих в неправде.

Про меня говорили:

— «Какой нервный мальчик»...

.

С препетов, думаю, открывались ми-
стории: мистерией началась моя жизнь;
и эта мистерия — рост; круги наро-
станья — наросты — есть жизнь моя;
первый нарост роста — образ.

Жизнь моя началась в безобразии: и
продолжилась — в образы.

Глава вторая.

НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА.

Все это уж было когда то,
Но только не помню когда...

Гр. А. Толстой.

Папа.

Я стал жить в пребывании, в ставшем (как я ранее жил в становлении); в нем держу нить событий; не все еще стало мне; многое установится на мгновение; и потом — упечет.

Так становится мне тетя Дося; становится папа; установится; и уже — протечет: станет паром. Папа водится редко; он в отсутствии представляется мне огнеротым каким-то —

— краснокудрые

пламена, огнерод, вылетают из уст; бородатый крылатый летает на ясных размахх; иногда приколотится он красным миром своим к Косяковскому дому, в котором мы

жили; и смотришь с Арбата в оконные стекла багровым закатом; разразится огромным звонком к нам во входную дверь: из Университета влепает в квартиру —

— (Университет — универс!) —

— громорogie самороды грохочут нам в комнаты; воспламятся все печи; а папа гремит за стеною (я впоследствии познакомился с греческой мифологией; и свое понимание папы определил: он — Гефест; в кабинете своем, надев на нос очки, он куёт там огни — серебряные молнии из стали, которые на подобье складного аршина он сложит и спрячет в портфель, чтобы их утащить в Универс — и отдать их Зевесу: университетскому ректору, Пудостопову).

Он уже вот в огромных калошах, в огромной енотовой шубе, по коридору бежит прямо во входную дверь, чтоб отпуга, раскрыв свою шубу, низвергнуться в космос (там за входною дверью — обрыв: над головой, под ногами и прямо, где после возникла стена, дверь и входная карточка с надписью «Христофор Христофорович Помпул» — темнеет

звездистое небо); и папа несется по небу—громадной кометой, по направлению к той дальней звезде, которую называют «Университет», уносится на пространствах: газообразно раскинутым, повисающим, нам грозящим хвостом; там—летают видения; там встречается папа с моею старухой: ее называют Напалбей Ивановной Малиновскою, крестной мамою; там в двери остается папина шуба, большая, пустая; папа мчится в иные вселенные:—

— в Уни-
верси-
тет;
— в Совет,
— в Клуб...

Их названья — «планеты»; говоришь он и дышет он—там.

.

Так лепят серебропевные облака на громах и на молниях.

Рой—строй.

Первые мои миги — рой; и «рой, рой,— все роится» — первая моя философия; в роях я роился; колёса описывал — после: уже со старухою; колесо и шар—первые формы: сроенности в рое.

Они — повторяются; они — проходяш
сквозь жизнь: блещет колесами фейер-
верк; пролетки летят на колесах; колесо
фортуны с двумя крылышками перека-
тывается в облаках; и — колесит кару-
сель. И то же — с шарами: они торчат
из аптеки; на Каланче взлетел шар; дере-
вянный шар с грохотом разбивает отряд
желтых кегель; наконец, приносят и
мне — красный газовый шарик — с Арбата,
как вечную память о том, что и я —
шары сраивал.

Сроённое стало мне строем: колеся,
в роях выколесил я дыру, с ее гра-
ницей, —

— трубою —

— по которой я бегал.

Трубы, печи, отдушины, то есть, дыры,
есть мир.

Вспыхивал печной рот раскаленным
оскалом; или — жевал он золу; черные ды-
ры отдушин душили угарами; в трубу —
вылетали.

Мама моя с ударением твердила:

— «Ежешехинский...»

— «Что такое?»

— «В трубу вылетел».

Это и подтвердил чей то голос:

— «Ежешехинский идет сквозь огонь
и медные трубы».

Размышления о несчастиях Ежешихинского, забродившего в трубах и бродящего там доселе,—были первым размышлением о превратности судеб.

В размышлениях этих одолевала память о старом: и я ходил в трубах, пока отсюда не выполз я—в строй наших комнат через отверстие печки из-за золы, из-за черного перехода трубы; туда уползают и отсюда выпалзывают: в строй стен и в строй пережитий.

Правилом пережитий мне встала путнянюшка Александра непосредственно у дыры, у трубы; и—строй наших комнат.

Трубочист.

Невыразимое чувство меня охватило, когда—

— из-за угла коридора просунулась
жиловатая голова трубочиста и добродушно ослабилась белыми своими
зубами; глаза мне сказали:—

— «Да, да,
да—вот».

— «Мы
знаем, что знаем...»

— «Но об
этом—молчок...»

— «Ни-ни-
ни...»

И трубочист наклонился к отверстию печки: что-то свое там тайть, вспоминать...

.
Думалось: может быть, это он, перегибаясь по трубам, меня выхватил из дыры; и—пронес над огнем...—

— Как он бродит над трубами и опускает в отверстие длинную веревку на гире: согнутый, озоленный, — посиживает: в горях, в коптях, — у перегиба трубы, в темном ходе, спасая оттуда младенцев, и после выпалзывая из печей, где ему, как ужу, ставят на блюдечке молоко; и — трубочист представляется мне змееногим: извивается в комнатах; тихо пестует мальчиков.

.
Поражался я отвагою трубочиста: любил, трубочиста. И зная, что, —

— Ежешехинский впал в трубу, там заползал, как червь, и из трубы по ночам подвывает, я думал: —

— «Как его там найти?»

Послать трубочиста.

.
Видывал трубочиста я после: в окошке... Как он там, — на трубе, далеко-да-

лёко, выдается изогнутым контуром; солнце блещет слепительно; снег на крыше — глазастый алмазник; присвиснет метелица; и — взлетят снегометы: снегометы бело и неярко летят переносными стаями; легколистая снегопись серебрится на окнах.

Тетя Дотя.

Тетя Дотя становится — тоже, появляясь сперва в зеркалах дальней комнаты; и в величавом спокойствии медленно оплотневает; оплотневшая ходит среди нас: с выбивалкой в руке.

Оплотневшая тетя Дотя становится: Евдокией Егоровной; она — как бы Вечность.

Евдокия Егоровна, Вечность, сочувственно посещает меня, обнимает меня своим бледным лицом — без единой кровинки; тетя Дотя — распродана: распродана в зеркалах; в том и этом; обнимая меня, указывает на зеркало; там — она; и еще кто-то там: зеленоватый, далекий и маленький, в бледно-каштановых локонах; а тетя Дотя мне шепчет:

— «Чужие»...

Становится все очень странно, а тетя Дотя садится к огромному, чер-

ному ящику; открывает в нем крышку; и одним пальцем стучит мелодично по белому звонкому ряду холоднаватеньких палочек—

— «То-то» —

— что-то те-ти-до-ти-но..

.

Мне впоследствии тетя Дотя является: преломлением звукохода; тетя Дотя мне: мелодический звукоход; а все прочие ходы суть грохоты; и особенно папин ход: грохоход—папаход...

Тетя Дотя — минорная гамма; или — строй торчащих чехлов; и кресло в чехле — называю «Егоровной» я; и мне каждое кресло — «Егоровна»; строй «Егоровен» — Вечность... Он ряд повторений: э-моль; и тетя — Дотя — э-моль: повторение одного и того же. Тетя Дотя — как гамма, как пиканье, как падение капелек в рукомойнике, как за окнами строй солдат без офицера и знамени; ее называл «дурной бесконечностью» знаменитейший Гегель.

Нянюшка Александра.

Непротканное звездами бледное небо, дневное — за окнами смотрит; непрогляд-

ная пенё на полу: это нянюшка Александра со мной.

Точней — воздух нянюшки: вселенная, продышавшая многим; и — прогнанная; ее прогнали: я плакал.

Все было в нянюшке правильно нам: и внедырно, и комнатно (она дозировала задырами: птрубочист — ее кум); я бывало ее перебил; я просил ее: мне позвать птрубочиста; нянюшка мне молчала: ни слова. И голоса я не помню ее; да и нрава не помню, но —

— дозирующий облик из теней, углов и простенков, в тускловапной мгле серых стен передо мною вспает, как реликвия древности...

.
Смутно помнится: —

— что букетиками васильковых обой — передо мной встали стены, и что тарелочка с манной кашкой откушана мною; и — перемазан я весь (нянюшка на меня заворчала: меня подтирает). Мне немного грустно и пусто; вот он — кованый, жестяной сундучек; около него, под часами, в пунцово-сером платбе сидит она —

— с изможденным, пожелклым, изборожденным лицом; и — с желтыми скулами; я валюсь на подушки, по-

тому что я—

— недоволен; мне говорили потом, что в это время был болен я, что меня мучил жар; жара нет; и — события нет; то есть, нет ничего уже; а... кашка... откушана... мною; я кушал—в будни; откушал: и — те же все будни; мне хочется плакать; в тиканьях перемѣняется время: уж сумерки.

Нянюшка на меня посмотрела; и забегали над чулком вязальные, ясные спицы—

— Манная кашка меня обманула; тягочится желудочек и нападают сонливости; я простираюсь за помощью; нянюшка склонилась ко мне; вместо ее головы—

— надворотом пунцового платья, без колпака, торча, меня лижет, мне блещет и синеньким огонечком моргает мне, дышет отверстием: ламповое стекло!—

— А нянюшка с ясными вязальными спицами— только смотрит!

Прогулка.

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из детской: в коридор—

ной печи — залетали огни; краснопалое пламя показало нам палец; мы проходим в столовую: на летящих спиралях с обой онемели давно лепестки белых лилий легкопенным изливом: проходим в гостиную: она — в красных креслах; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; мы — на кухню: шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари; там на кухне стоит, там на кухне бурлит — дымно-шипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; ломти мягкого мяса малиновеют на столике; кровоусая кошечка с красным куском в зубах — уж косится; и — морковь сочно прется о терку... —

— Афросинья, замахиваясь рукой над огнем, описывает кочергою дугу, вся в отсветах кудрявого пламени, вылезавшего на нее из печи легкой гривой; в печке — красная ярая морда оскалилась углями; —

— и мне кажется: —

— Афросинья там борется с гадом, приползающим к черному отверстию печи; будет — будет нам гибель: кричу; и выводят меня в коридор.

.

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из кухни; я — прижался к подолу; за нами бродят по стенам огромные великаны; то — тени; с'еживаясь, переменяясь, метаются; а коридор — бесконечен; странно мне это шествие — нянюшки Александры, меня — по коридору и комнатам опустевшей квартиры в сопровождении двух спутников, теней, немых и бесшумных; настроение это мне переживалось впоследствии, при созерцанье рисунка, изображавшего шествие по храмовым коридорам ведомого пленника в сопровождении птицеголового мужчины с жезлом.

Я впоследствии мальчиком ждал: вот откroется дверь; и — войдет: птицеголовый мужчина; и родимый клекот его огласит мою детскую.

Обморок.

Наши комнаты: коридор, кабинет, кухня; и — далее, далее; но — еще есть комнаты; их убрали; и их расставляют, как ширмы; только выйдем мы с няней из коридора на кухню, как уже в столовую быстро ворвутся губастые черные рожи — арапы: и — раздвигают все кресла; на опростанном месте они учреж-

дают «вертеп»: и — обставляют вертеп: кумачами; и папа в парчевом халате, в короне и с шаром в руке, появляется сам восседать в золоченом там кресле; и — мама становится дамой; и — ходит за папой; подают пузатую чашу и открывают паркеты; и опускают туда: под паркеты; под паркетами — синеродные воды играют струею; под паркетами плывет водовоз, попирая ногами бубновую бочку; и быстроливым ведром наливает в пузатую чашу: сестренки; папа с мамой танцуют кадрили, а сестренки их просят: «Отдайте нас Котику!»

По ночам иногда я не сплю: и в споловой мне слышатся стуки: танцуют кадрили — в «вертепе»; утром встает с золоченого кресла мой папа; и запирает сестренки моих в крепкий шкаф; и дама становится мамой: проходит за папой; «вертеп» разбирают арапы; я ищу его...

Где он, где?..

.

Тоже вот: —

— будет, будет нам гибель: попадают плитки паркетов — в мирные новых комнат!..

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды: —

— мы, паркетные
плинки, и я — мы попадали в обморок
(это было во сне); падать в обморок с
той поры означало: падать в чужую
квартиру, под нами, где доктор Пфэф-
фер проказникам дергает зубы и откуда
грозится нам чернобровая девка, Арда-
ша: «Проказничать больше нельзя»...

Помню я этот сон: —

— выбегаю в сто-
ловую я, а за мной моя нянюшка с кри-
ками: «Обморок»... И этот обморок ви-
жу я: он — дыра в лакированном нашем
паркете; и я вижу в дыре: там — гостини-
ная; она — в красных креслах, как наша;
на стенах из огромных гирлянд багря-
неют, грозясь: кисти красные роз заре-
выми роями; я туда падаю; шепоты,
шумы, шипы, огни, пары, гари влезают
в открытую дверь; и появляется сам
доктор Пфэффер в короне; и чернобро-
вая девка Ардаша становится дамою; и
доктор Пфэффер кричит из отверстия
усатого-бородастого рта:

— «Я твой папа».

А чернобровая девка, Ардаша, стре-
ляет глазами:

— «Я — мама».

.

Метафоры понимаю я точно: упал в

обморок — значит: упал, куда падают; а ведь падают — вниз; внизу — пол; под-полом доктор Пфеффер проказникам держит зубы; и — попадают к нему.

.

Ощущение зыбкости стен и таимого мира под ними объяснимо по моему крепнущим порогом сознания, безпрепятственно простертого прежде в безсознательный мир, где я, запорожец, сшибался со всяким тапарином, — в сублиминальное поле, усеянное костями:

«О поле, поле, кто тебя
«Усеял мертвыми костями?»

Эти кости — порог, а блуждание сознания по костям прежде павших существ — стены комнат: сознания в нашем смысле; но раздвигаемы кости; мне порог сознания стоит передвигаемым, проницаемым, открываемым, как половицы паркета, где самый обморок, то есть, мир открытой квартиры, в опытах младенческой памяти наделяет наследством, не применяемым ни к чему, а потому и забытым впоследствии (оживающим, как память о памяти!) в упражнении 'новых' опытов, где древние опыты в новых условиях жизни начинают старушиться вне меня и меня — ты-

сячелетнего старика — превращают в младенца: то, что я — маленький, случайное несчастье, что-ли: не истина, а — социальное положение среди более, чем я, позабывших и именуемых — взрослыми; мне, младенцу (старикау ненашего мира) они объясняют игрушки; и объяснение их игрушек перетягивает внимание от во мне живущего мира — к играм, затеянными вне меня; и — создается порог. —

— Я его помню открытым.

Древняя тайна.

На лакированной поверхности шкафчика линии деревянных волокон сбежались: —

— темнородным пятном перепиленных суков —

— как бы в две фигуры, сложенные смутными ликами из разлетевшихся складок — друг к другу: что-то поведашь друг другу —

— шайть, молчать, вспоминать: какую-то древнюю правду, которой касаться нельзя:

— «Ни-ни-ни!» —

— которую вспоминаешь ты, так же вот, поклоняясь без шепота: образы посвященных переживались мной

впоследствии так, как полное тайны
склонение покровенных фигурок на шкаф-
чике... из разлетевшихся складок; и —
образы склоненных волхвов в великолеп-
ных коронах над ясным Дитятей: в кио-
те; и моргает киот самоцветным руби-
ном; и от рубина потянутся красные,
ясные лучики; один волхв — трубочист:
черен ликом и красен губами; и красные
губы раскрылись, как будто поет он;
и мне говорят про волхва, что он —
Мавр —

— на лакированном шкафчике линии
деревянных волокон сбежались к двум
пятнам: перепиленных суков; и эти пят-
на — не пятна, а мавры, то есть, тем-
ные богомольные лица: волхвов.

.

Невыразимое чувство: —

— я его впо-
следствии узнавал, неоткрытым в своей
остроте, но мне глухо-звучащим под
образами и событиями жизни — в произве-
дениях искусства, в грохоте городов,
между двух под'ездных дверей; более
всего — на ребре хеопсовой пирамиды, в
час тихий вечера, когда солнце Египта
зловеще отпущивало в подпирамидной
пыли; и — плавали золотокарие сумерки;
плавали главы пальм, занесенных песча-

ною пылью; и — будто бесствольных; чернея с громадных ступеней, феллах подымал на меня одиноко гортанный свой голос... —

— Много раз приходило ко мне мое странное чувство...

.

По утрам из кровати, бывало, смотрю: на узоры стоящего шкафчика; я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик); узоры, бывало, снимаются с мест: прилипают мне к носику линии деревянных волокон двумя темнородными пятнами перепиленных суков; и мне кажется: две фигуры склонились своими неясными ликами, как два Мавра, — из разлестевшихся складок: над маленьким мальчиком; пальчиком трогаю их; но легко и воздушно сквозь лики проходит мой пальчик; моргну —

— и темнородные пятна перелетают на шкафчик...

.

Среди дня я на них посмотрю — тысячестью древнего мира мне немо склонились фигурки; и мне кажется, что у меня за спиною — не стены, а такие же точно миры, как на маленьком лакированном шкафчике: волокнисто-темнеющие, золотокарие, где все плавают су-

мерки меж бесствольными кущами; и
чернея оптуда, зовет он (а кто — я не
знаю); и — одиноко подымет гортанный
свой голос —

— повертываюсь: —

— вместею зо-
лото-карего мира — стена: этажерочка
(та же!) стоит себе; и на ней — строй
солдат; оловянные гренадеры мои сереб-
рятся мне лицами... Сидит моя нянюшка.

.

Среди ночи, бывало, лежу; и повешено
мне на стенке окошко; там — стылая яс-
ность вечернего неба; и стылая ясность
вечернего неба дрожит; и —

— самоцвет-
ная звездочка —

— мне летит на постель;
и — уколется усиком; я попру кулачком
свои глазки: и возникнет в закры-
тых глазах моих центр; и — исходят из
центра мне трепеты молний; а центр
раздвигается: строятся светлые ком-
наты; из центра несутся: центр ши-
рится — раздвигается в синий глаз: си-
ний глаз — добрый глаз; но... я глазки от-
крою: —

— и вижу: —

— нянюшка моя под кио-
том; кладет там поклонь; и красным

рубином моргает протканная риза; и—
Мавр протянул свои руки: над ясным
дитятей разводит ладонями — из разле-
тевшихся складок.

.
Я впоследствии взрослым смотрел с
ожиданием на лакированный шкафчик: две
фигуры, склоненные смутными ликами
там слагались попрежнему; и—ничего не
могли мне поведать; пересчитывал я де-
ревянные волокнца под лаком; и рассма-
тривал темнородные пятна перепилен-
ных суков.

Церковь.

Спины, склоны, поклоны—

— как полное

тайны сложение деревянных фигу-
рок на шкафчике...—

И за спинами—голоса:—

—под'емлют ка-

кую то огромную, но позабытую
истину: древнюю; мне когда-то от-
крытую в храме (когда это было?).

Громкий зов я забыл: забыл солнцевый
голос!

И—вот он раздался:—

—дергаю бабушку

за края ватерпруфа и собираюсь распла-
каться...

Но меня приподняли (и — мне узреть!):—

— блистающее, как золотое светило небесное чернобородое божество там стояло перед распахнутой дверью— в таимую комнату блесков; и, подымая высоко десницу, с блистательной лентою, провозгласило: голосом, от которого чуть не лопнули стены...—

— блескогромное, огромное Солнце, на котором я жил, опустилось на нас: провозглашенным глаголом — провозглашенным единственным раз, потому что мир не способен вторично услышать гласимого: он, наверно, провалится... там — в сияющей синеватости дымов вставали светящие: блага и ценности... неописуемых, непонятнейших форм; там, оптуда, — на миг показалась та самая Древность в седирах; и пышные руки свои развела: из Золотого Горба; и казалось мне, что стоял перед нами: Золотой Треугольник; две руки, как лучи, протянулись направо-налево от белого лика: белый лик, точно око, глядел в золотом треугольнике; и — миры миров там чинились: под багряной завесою; человекоглавое серебро из руки зашепеляло звезду; золотую планетою доносила Книга... к престолу, сквозь

разрывы завесы; но таинница строгих дел там закрылась; и—

— красные, кудлатые люди в огне, по бокам, как загаркали в ужасе!...—

— Тут меня опусили под спины; но еще долго мне слышались какие-то багровые ревы; серебрились и синились дишканты: точно четыре животных подхватили провозглашенные вопли; и катали их... по мирам; из подкинутой чашечки на серебряной цепи вылетали душистые клубы... над спинами; как крылами, громами бил храм; и в глаголы облекся, как в светлы...

.

Очень скоро за узренным раздаются глаголы и мне: об ангелах, рае и... Боженьке; окончательно выясняется мне, что таимая комната—Церковь, где спароста Светославский обходит с тарелочкой; в Золотом Горбе, у престола под'емлющий руки, есть «ба т ю ш к а», или—священник; когда он без парчи, то он—«поп»...

Поп, попы, попадья, просфора, просвирня—слова, которые меня просвещали; главным образом — бабушка; тут она знала толк; я ее считал—подпросвирнею; бывало—она перекрестит;

бывало—подсунет мне в ручку пузатенький хлебик: «просвирку»; поминаннице—

— лиловая книжечка—

— все, бывало, с ней рядом; и даже она понесет поминаннице, лиловую книжечку, с просфорой на поднос: и ее унесут: в мирь блеска; и даже, бывало, пошутит она с попадьей; и—даже!—пройдет с крестным ходом: за ним, за самим, — за Иоанникием, Митрополитом Коломенским и Московским.

.

Мне дорога жизни протянута: чрез печную трубу, коридор, через строй наших комнат—в Троице-Арбатскую Церковь, где наш староста, Светославский, обходит с тарелочкой...

Строгие строи.

Все, возникающее из-за коврика, было мне не на пользу; там, отпуда—шли поступи; и галлопада времен приближалась; она разбивалась о правило: о мой завет с нянюшкой—

— мне жить по закону; и—в правиле: около угла, сундучка, при часах; слушать тихое тиканье; то есть: жить в строгих строях; не

перетягивать цепочки за гирю; не останавливать тиканье; не искать новых комнат; галлопируя не забежать в коридор; и не щелкать под креслами; не залезать под-подол; и пушистую кисиньку не таскать за приподнятый хвостик; главное — что-бы бабушка на сломалась, как сломалась однажды она, как недавно мной сломанный слоник: —

— как она к нам под села; и подзывала меня: ее писнуть; ну, — я ее писнул; она же сказала: «Сломаюсь». Я писнул еще ее; и — сломал; хохотали все: папа, мама и няня; но я... сломал бабушку!... —

— словом мне быть: не шалить; проживать формалистом; и даже... буддистом.

Что-то и доселе живет во мне в фуге Баха и в белой дорической колоннаде от моего мира с нянюшкой; и от вечного пети-допина мира.

В более позднем младенчестве этот мир строгих спроев (спроевая служба моя) представляется мне миром зданий, гамм, руляд, крамеровских этюдов и Черни (экзерсисы Черни вы помните?); особенно: государственных учреждений, мас-

сивных и каменных, без орнаментной лепки, но с колоннадою: николаевских серых и беложелтых казарм, александровских и мариинских инспитупов, гуляющих парами, в пелеринках, больниц, богаделен; и даже — пожалуй — мне розовый Вдовый Дом напоминал этот мир (неподалеку от Пресненской части, где выкакивал бородастый-рогатый козел, и бодаясь-брыкаясь летел впереди вестового, предшествуя «Части»; и где бродил он степенно от Пресни и до... Горбатого Моста); все богаделенки — няни; вдовы же, то есть, старые девы (что тоже) представляются мне до сих пор... интересами Веры Сергеевны Лавровой:—

—Вера Сергеевна Лаврова — знакомая тети Доты, пахла прелыми яблоками; и загадывала на... Бабашкина; выходило всегда, что Бабашкину предстоят интересы; исполнение интересов — четыре десятки — ложилось не редко..

.

Этот строй мне знаком; противопоставлен он рою; строй оковывал рой; строй — твердыня в бесстройце; все остальное — течет, как например... дети Ветвиковы: припекают откуда то к нам — колесить и дразнить.

Все это на меня налетит, обестолковит и схлынет. И останется тихий мой мир; и в нем—я, надо всем—

— спре-
котание спиц из простенка и тем-
ные орбиты нянюшки Александры:
из под белого чепчика.

Фундаменталиков-Чемодаников.

Фундаменталиков-Чемодаников, ученик ремесленной школы,—это был безобразник; на металлический сундучек приходил он посиживать из угла коридора; и разговаривал с нянюшкой о ремесленной школе; о воспитанниках этой школы; и о том,—сколько их...

Мне казалось, что они грохотали у нас по ночам; в лабиринте из комнат с толпами—вроде таких же точно, как и они, безобразников; это были дикие племена, населявшие миры дальних комнат; я с волнением взираю на сидящего безобразника, учиняющего в ночных переходах ужасные нападения на детей; (с Фундаменталиковыми - Чемоданиковыми грозно бьются в огнях трубочисты; отражая их черные полчища, нам грозящие и угаром и сажами).

Папа его отчитал:

— «Знаете: вы—молодой человек...»

— «Ученик ремесленной школы...»

— «И—ай, ай—что вы сделали!»

— «За такие поступки вам, сударь мой, в нос проденут кольцо: и — попащат по улицам с городовыми»...

Мне все думалось после: Фундаменталиков-Чемодаников—

— ай, ай, ай!—

— поступил, то есть, позволил себе своевольно тяжелую поступь: нарочно гремел по паркету; мне открылось тогда: кто нарочно гремит по паркету, тот совершает поступок; за поступок же—всякий!—огромных размеров кольцо продевается в нос; и тут вспомнилось мне, что поступил еще хуже я: щелкнул во мрак пустых комнат; оттого-то и прибегал Дорионов: мне продеть в нос кольцо; и—утащить за собою...

.

И уже значительно позже: —

— видя

черные рожи индейцев с продетыми в носу кольцами, понимал я отчетливо: все они — безобразники: с тяжелою поступью: Фундаменталиковы-Чемоданиковы.

Паяц-Петрушка.

Курий крик—

— Крр-кр!—

— каверзник: рас-
трещался трещоткой; он—

— грудогорбая,
злая, пестрая, полосатая финтифлюшка-
петрушка: в редкостях, в едкостях, в шу-
спростях, в юростях, востренѣким, мерт-
венѣким, дохленѣким носиком, колпачиш-
кой и щеткою в руке-раскоряке колотит-
ся, что есть мочи без толку и проку на
балаганном углу—

— Крр-крр-кр!—

— высоко!

Я—

— подтянутый,

— схваченный,

— вскинутый—

— с изумлением, строго-
стью и безо всякого наслаждения рассма-
триваю вредоносное, воспрое, пестрое и
очень злое созданье, как дозируют та-
рантулов в опрокинутой банке: как бы не
выскочил укусить; и—

— Кррр-крр-кр!—

— раз-

резает картавенѣкий голосок как то-
ченными ножницами: подчирикнул, под-

прыгнул, подпрыгнул и нет его — на балаганном углу; падают лишь снежинки на носик.

Тут ударили в бубны!

Меня же, дрожащего, покрытого смертной испариной, продолжают —

— подтягивать,
схватывать,
вскидывать! —

— тащут за руки, без всякого милосердия: под полотно балагана, где кипят и пучатся бубны — под полотном балагана! Мы спешим в кровавые кумачи, в мимотекущие ураганы и старые-старые ярости, где нас всех прищипят, растиснут, раскрошат, завертят, закрутят, зажарят и... сбросят —

— в

пропасти колесящих карбункулов! —

— Вот

уже кровавые кумачи с курвим криком Петрушек, из которого вдруг выхватывается на нас, обдавая нас пламенами, мелочиный колпачник и что есть мочи замахивается своей медной тарелочкой. Мне говорят:

— Вот — паяц! —

— но на

бывалое безобразие отвечаю я криком!

Философ.

В это время себя вспоминаю философом я:—

— ползая под столом, под подолом, под стулом — при нянюшке! — я не просто ползал, а—так сказать — с ударением, как подобает ползать дельцу, побывавшему во всех передрягах; и — колесившему по пустыням; ползал я — в настоящем: без всяких видов на будущее — без проектов, без планов; и — конечно же! — без надежд (обманула манная кашка!);...; с достоинством отдаюсь я огромным рукам; и меня, как царя, уж сажают в высокое креслице, откудазираю я на текущие события мира с философским спокойствием:—

— стародавний орфист; я проник в мир мистерий; и о мирах изначальной змеи, вспоминая свою коридорную бытность, кое что рассказать бы я мог: мне в младенческих ужасах открывались миры древних гадов, и гад, дядя Вася, стоял во главе их...

— Я — боролся со Львом...

— Старый Гераклитианец — я видывал метаморфозы вселенной в пламенных ураганах текущего; и я знал

очень твердо; что́ сегодня — нянина голова, то когда нибудь — отверстие лампы; (няни нет уже — утекла: я не помню, когда это было; но знаю — прогнали мою молчаливую нянюшку). — Папа бьет нам вулканом; и — наполняет все комнаты керосиновой копотью, в копоти бросается трубочист меня выхватить из пожара; передает меня нянюшке; нянюшка строем дорических стен отражает огонь; и — отражает нам полчища «корибантов»: Фундаменталиков-Чемодаников; доктор Пфедфер, паяц — нападают на нас; мир хтонических культов пронизан струей аполлонова света; и возникает трагедия: воспоминаний о нянюшке...

.

Анаксимандр, Фалес, Гераклит, Эмпедокл пробегают по нашей квартире на чувственных знаках:

Говорю:

— «Рой, рой — все роится».

Фалес меня учит:

— «Все полно богов, демонов, душ...»

Передо мною — огни: в страшный мир колесящих карбункулов распадается мне темнота; метаморфозы охватывают; а — Гераклит мне твердит:

— «Все — печет».

С Анаксимандром мы ведаем беспредельности; Эмпедокл бросается в Этну; я — падаю в обморок.

В эту давнюю пору разыграна и разучена мною: вся история греческой философии до Сократа; и я ее отвергаю.

Перечитывая «Историю греческой философии»:

— Нечего ее изучать: надо вспомнить — в себе».

Глава третья.

БЛЕСКИ НАД БЛЕСКАМИ.

И этих грёз в мировом дуновении
Как дым несусь я, и таю невольно.
И в этом прозрении и в этом забвении
Легко мне жить и дышать мне не больно.

А. Фет.

Котик Летаев.

Мне четыре года; родился я вечером:
около девяти; вскричал—ровно в девять;
над моим появлением на свет поспе-
рался—лейб-медик: профессор Макеев; и
тут же его я обидел:—

— он, взявши на
руки, меня хотел приласкать, а я... я...
я...: словом—он побежал к ручомойнику...

Я его видывал после, на улице; малень-
кий старичек, положивши на плед свои
руки, пролетит в коляске, бывало; и се-
дою головкой—направо—налево—направо:
наушники шапки болтаются; и — удив-
ляется улицам; детские голубые глаза

на меня уставятся — нет их; думаю: вот — профессор Макеев, лейб-медик, когда-то старался, чтоб мне его видеть; кабы не он, мне бы его не увидеть; я его узнаю; а он — нет.

Говорили мне: при моем появлении на свет свой огромный том мне прислал академик Грот с своей надписью; не видал этой книги я, но всегда ей гордился.

Очень я любил повторять со слов мамы, что когда меня подносили к окну, я увидел вспыхнувший газ в колониальном магазине Выгодчикова, — разволновался, затрясся и торжественно произнес — свое первое слово:

— «Огонь»...

Это — помнил я твердо.

Я ходил — тихий мальчик, — обвисший кудрями: в пунсовеньком платице; капризничал очень мало; а разговаривать не умел; слушал речи других, склоняясь над сломанным слоником; и отвечая на ласки, я терся головкой о плечи; прогнанный, отходил в уголок, чтобы отпуда мне медленно подбираться к коленям: поспать на коленях.

Или я смиренно садился на креслице: мне подумать на креслице; свои руки сложив в ручках креслица, — думал на креслице:

— «Почему это так: вот я — я; и вот — Котик Летаев... Кто же я? Котик Летаев?.. А — я? Как же так? И почему это так, что —

— я — я?...»

Из под бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи, я из сумерок поглядывал: в зеркала.

И становилось так странно...

.....

День Котика Летаева.

Из кровати смотрю: на букетцы обой; я умею скашивать глазки; и стены, бывало, снимаются: перелетают на носик; легко и воздушно сквозь стены проходит мой пальчик; ах, туда бы головку; но — непроглядные стены! — моргну: перелетают на место.

Раиса Ивановна, бонна, встает из постели; одеяло откинет; и голыми ножками — в пол; подбежит босиком в белой теплой рубашке: вынимать меня из постельки, одевать чулочки и лифчик, и мне — улыбнется.

Девять часов; а не то — половина десятого; и Раиса Ивановна в ясеневой красневой кофточке разливает чай (мама спит: она встанет к двенадцати); самовар трещит: и самосыпные искры

лелят нам на скатерть; носик мой упирается в край стола; и захрустел на зубах край поджаренной булочки; папа — в форменном фраке: кудролюбый, очкастый; захлебнул чай усами; светлоливая капеллька капнула с его мокрых усов в синий бархатный отворот его синего чистого фрака; фалды фрака качаются; двуглавые золотые орлы золотых его пуговиц — строжайше расставили крылья.

Папа едет на лекции: лекции — линии листиков; многолетие прожелтело их; листики сшиты в тетрадку; по линиям листиков — лекций! — летает взгляд папочки; линии лекций — значки: круглогорый, прочерченный икс хорошо мне известен; он — с зетиком, с игреком.

Папа водит по ним большим носом; и щелкая крепким крахмалом, бормочет:

— «Так - с, так - с!»

И получается: «Такс».

Иксики напоминают мне таксиков: напоминают собачек; таксики (думал я) вырастают из этих крючочков; их встречал на бульваре я уже значительно позже. весною; продувные, нелистые деревья желтоглазились почками; бульвар лился людом; и на пологие лобики песиков я укладывал ручки.

Самовара нет. Папы — нет.

.
За окнами все — то крыши: и удивленные горизонты — раздвинуты, пусты.

Наша гостиная —

— уставлена красными креслами; с подоконников поднимают печальные пальмы свои линии листьев; злые, зеленые зеркала — в ясном золоте рам: и Раиса Ивановна передается из зеркала в зеркало; и все — валится, не падая, на бок; а пол — скачет вверх. И Раиса Ивановна принимается меня обнимать; и — зеркалами пугать; и — все валится, не падая, на бок, а пол — скачет вверх...

.
Наша столовая, как денница, вся белая: —

— на лепящих спиралях с обой онемели давно: лепестки белых лилий легкопенным изливом; у обойгнули стулья ломкие полукруги сидений; из обой просунулась круглота: деревянная голова; стрекотала строгими стрелками на циферблатном оскале; кружевные гардины, как веки, тишайше белели под окнами; дубостопный желтый буфет — он один будоражился; и бряцающая посудой, кидался — на прохожих у двери.

После ночи, бывало, войду, посмотрю;
и окнами, как глазами, посмотрят одне
бледноглазые стены; и бледноглазая яс-
ность покроет покоем.

Наша столовая—утренница; а—
— темно
в коридоре: в коридорной печи зале-
тали огни; чернорогая женщина меня
ждет в коридоре.

Тонкою нитью прояснилось многокру-
жие паутины; и—

— Раиса Ивановна,—

— ми-

лая! —

— глядя искоса на меня, наклони-
лась кудрявой головкой к своим
красным пряпкам, перекусивши зуб-
ками нитку; протягивается игол-
ка; и—

— «Was ist das?»

— «Das ist»...—

— мне не помнится слово.

Мои кубики порассыпались; и—голов-
кой—в колени; ручка в ручку; и—ничего;
мы—пройдем... коридором...

Чернорогая женщина, может быть, за-
бодает нам—маму...

.

Мама проснулась — зовет нас: —

— меня

берет на постель; преплет кудри; и я—
перед ней кувыркаюсь:

— «Котик, маленький»...

Альмочка кувырывается тоже: и уже
бьет двенадцать часов; пора маме вста-
вать: уж на кухне стоит дымношипный
котел; и огонь бьет в котел, прободая же-
лезную вейку; там — в железной печи,
окаляет поленья: краснорогий огонь из
прескучих печей поедает поленья. Побегу
в кухню я—шепоты, шумы, шипы, огни,
пары, чады.

.

После завтрака—

Наш веселый кузен Веревишинов с дым-
нокудрой сигарой в руках все-то щелкает
пальцем на Альмочку, которая поедает
щентяток, и Раисе Ивановне нежно посмот-
рит он в глазки: в агаты; из кудрокрыло-
го личика мамочка бирюзеет глазами на
нас и капризно качается на качалке в
своей красной косыночке, поджидая к
себе Поликсену Борисовну Блещенскую
в великолепной карете: кататься; и блед-
ная ленточка с ясным бубенчиком гре-
мит в ее пальцах: это—лиловая ленточ-
ка; бубенчик—серебряный; Миловзорилов
перевязал ею мамину руку.

Миловзорилов—светлогрудый гусар; и
это все—«котильон».

Поликсена Борисов на позвонилась: мамочка привскочила с качалки и протянула мне ручки; я зарылся головкой в колени: пенбюар разлетается от неа самокрылыми змеями.

Кучер — с лазурной подушкой на голове: прирос толстым задом; вороньё кони хрипят, жуют мыльные удила — с угла Арбата: ждут мамочку; это вижу я из окна: из серебряных листьев мороза; мамочка, в коричневом казакине и в брошке надела ретонду; она — к Блещенским на весь день; и вечером — в бенуар.

Нам пора на прогулку.

Тут с меня снимут туфельки; и проденут ножку чулочком — в меховой сапожек; и принимается кто-нибудь, сапожек уперши в колени, крючком щипать мою ножку.

Каждый день мы идем: на Пречистенский бульвар погулять (на Смоленский бульвар мы не ходим: там дурно воспитаны дети); кто-нибудь ходит там; и вдруг сядет на лавочку; на меня поглядит; и — значительно посылает улыбки; все они улыбаются мне; все они уже знают, что Котик Летаев гуляет; хлопает крыльями чернокрылый каркун и вислоухая шуба сутулится в снеге; снегосып-

ное дерево вздрогнуло; а уж кто-нибудь, вставши —

— медленно уходит туда: в крылоногие ветерки; обернется, кивает...

А уже набежали на нас: крылоногие ветерки; веют белья веи на разгасившихся щечках; дымит куча снега; песик к ней подбежал и над нею он поднял: мохнатую ногу; я бросаюсь к лимонному пятнышку, но Раиса Ивановна — «пфуй»!

Ах, как жалко!

Безрукая шуба щетинится комом древнего меха в снега; и хлопает в воздухе крыльями; я бросаюсь на шубу: обхватить ее ручками; она нагибается низко и из шершавого меха, под шапкой, уставятся: два очка; и белая борода прожелтится усами; шуба — гуляет, как я; и она называется: Федор Иваныч Буслаев; и Федор Иваныч зашамкает —

— птичка ему рассказала, что Копик Летаев сегодня гуляет; и он Котику принес на бульвар кое-что: и дрожащей рукой меня треплет по разгасившимся щечкам; и кусочек рябиновой пастилы осторожно просунет мне в ротик, кивая очкастою головой; Федор Иваныч Буслаев гуляет не на ногах, а... на шубе (живет в своей шубе), а шуба проходит: чернокрылые

каркунъ сквозъ суки пропорхнули ей
вслед.

Рассыпаются снеговые вьюны; рассы-
паются неосыпные свисты; пахнет пру-
бами в воздухе; золотую ниточкой фо-
нарей многоочитое время уже побежало
по улицам: предвечерним дозором; все на
небе расколото; кто то блистает от-
пуда, из-за багровых расколов; желтеет,
мрачнеет; и — переходит во тьму.

Мы — домой.

.

Вечером: —

— на летящих спиралях, с
обой, кружевеют, горя, косяки
красных зорь: бледнорозовым ро-
ем, а —

— Раиса Ивановна мягким, ага-
повым взглядом таинственно
переводит мой взгляд: переводит
туда, где —

— багровая голова, со стены
хохоча, огрызнулась
оскалом.

Не успею я вскрикнуть: Раиса Ива-
новна —

— милая! —

— шаловливо уж клонит
свой локон в мой локон; и — начинает
смеяться.

Кружевные дни — на ночи: повторяют себя — на ночи; тени сваялись из углов; тени свесились с потолков; и возникая из воздуха, — чернорogie женщины проходили по воздуху.

.

По вечерам мне Раиса Ивановна все читает —

— о королях, лебедях; ничего не пойму: хорошо!

Мы — под лампою; лампа — лебедь; и ширятся лучики — в белоснежные блески развернутых солнечных крылий, пересекаясь в ресницах; застревая в волосиках, пощекочут ушко они; полудремотно ласкаюсь я к лучикам; голова на коленях: ласкаюсь к коленям; все отхлынуло — в теневое, темное море; спинка кресла — скала; она — набегает, растет: хорошо!

Со скалы: —

— (Явь ушла в полусон: в полусон вошла сказка) — стародавний король просит верного лебедя по волнам, по морям плыть за дочкой в странv незабудок (когда это было?) —

— лампа — лебедь: с лебедем улетаю и я: —

— мы — кидаемся в вол-

ны; несемся по воздуху в голос: забытый и древний: —

—

«Я плакал во сне...

«Мне снилось: меня ты забыла.

«Проснулся... И долго, и горько

«Я плакал потом...»

(Это — кто-то: поет из гостиной)...

Полусон мешается мне со сказкой, а в сказку вливается голос: —

— мы — в воздухе: на лебединых, распластанных крыльях, где на протянутых струнах воздуха разыгрались арфисты и где лебединые перья, как пальцы, сиянием проходят по ним; лебеди переливаются по лазурям, а из лазурей —

— (беззвучно, как прежде уже киваешь мне ты: тебя не было; плакал я без тебя; все забывши я плакал; ты вернулась ко мне — лебединая королева моя) —

—

«Я плакал во сне.

«Мне снилось: ты любишь, как
прежде.

«Проснулся, а слезы все льются...

«И я не могу их унять...» —

— Несем-

ся: все вместе. Несется и красный
Наставник за нами: тысячелетием,
пламенами и пурпуром: —

— открываю

глаза: лебедь — лампа.

Лебедя вырежет мне Раиса Ивановна
завтра...

.

Воспоминание детских лет — мои тан-
цы: под лампою; все во всем: насы-
пают в чайницу чай; и над куском каби-
нетной стены под самоваром бормочет
быстроглазый мой папа; в кабинете
стен нет: вместо стен — корешки, за
которые папа ухватится: вытащить пе-
реплетенный и спрочно пахнувший томик:
вместо томика в стене — щель; и уже
оттуда нам есть: —

— проход в иной мир:
в страну жизни ритмов, где я был
до рождения и отсюда теперь вы-
нимаю я пальчиком... паутинник; па-
па же томик раскроет; и —

— бро-
сятся —

— крючковатые знаки: диффе-
ренциала и... функций; эти функции пол-
зают на крючочках; и, вероятно, куса-
ются, как... мурашки, которые позаво-
дились в буфете и которые... —

— раз при-
несли мне кусочек черствого хле-
бика... из него делают грешника, по
есть, обмакивать в чай; разло-
мили кусочек, а там то —

— в ку-
сочке — то! —

— мурашки: —

— красные! —

— пол-
зают! —

— папа придвинул свой нос и под-
пирая очки двумя пальцами, он заерзал
лицом и воскликнул:

— «Ай! Какая гадость: мурашки!»

Сам же он поразвел на дому всяких
функций на листиках (до функций Лаг-
ранжа включительно), и существа иных
жизней во всем: и в буфетных щелях, и
в паутине под шторой —

— видел я там
брюхоногую функцию: —

— папа пестрип
своей функцией белые листики; фун-
кции с листиков расползаются по до-
му; листики бросит в корзиночку; я же
листки вытасчу; и — Раиса Ивановна
мне из них нарежет ворон; все вороны
мои не простые, а — пестрые; и — на
себе они носят: многое множество ра-

станцевавшихся иксиков; мне надоели воронь; и я — гляжу в иксики: —

— в икси-

ках — не бывшее никогда!

В них — предметность отсутствует; и — угоняются смыслом...

Вечер: мне — пора спать. Мамы нет (она на «Маскопт» — в бенуаре); мы с Раисой Ивановной за вечерним столом вместе с бабушкой и Серафимой Гавриловной, старушонкой; папа там, под самоваром, бормочет: у чайницы, черной, лаковой и китайской; на этой китайнице — вижу я: золотые сады, многокрышие домики, золотые птицы и люди — китайцы.

Все одно: золотой Китай или... чай.

Папа выставит на Серафиму Гавриловну из-за книги и таинственно подмигнет ясноглазым лицом:

— «Серафима Гавриловна: Страшного Суда-то не будет».

— «А как так не будет?»

— «Судную-то трубу украл видно чорт: переполохи на небе... Об этом писали в газетах».

И Серафима Гавриловна нам обиженно пожует блеклым ртом.

— «Переполохи и неприятности: у Николая Угодника с Михаилом Архангелом»...

И тут примется утапатывать в коридор повеселевший вдруг папа: и уже —

— «почистите сюртучек!» —

— раздаётся оттуда; мне — не весело: что-то будет!

Папы нет; папа в клубе: один; и все — в бесподобиях; переполохи в углах; и неприятности — под полом; и лишь один потолок в световых кружевах; комнаты, как ковши, зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, — полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листья лапчатой пальмы: озирается, топчется и, содрагаясь, бояться — темного потолка; тихонравная бабушка — ушла в кухню; переливается звездами неосыпное небо.

И — ползает функция.

Раиса Ивановна меня уложит в постельку.

.

Мне не спится... Повешено мне на стенке окошко: там — стылая ясность вечернего неба; и стылая ясность вечернего неба дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— мне летит на постель; гла-

зиком поморгает; усядется в локонах; усом уколется в носик: чихну.

А звездоглазое небо моргает в окошке.

Вот откроют форточку, и как безгорбое облако пихоплавно войдет синий холод; остужать синеродом: —

— и певчая

стаечка звезд — к нам ворвется; кружить по углам и наполнить все щебетом: —

— две от стаечки отделятся и начнут порхать друг над другом, запевя веселую драку, а какая-нибудь сядет к Боженьке в уголок; трогает крылышком огонек и пробует маслица из лампадки: —

— все же

другие блистающим одеяльцем опустятся на меня: распевать небесные песни... —

Сплю... —

.

А за окнами все подтянуто, втянуто: в синеродную вышину, а она-то носится звездами, то — под собою их гонит; капится наливная звезда за перекладину рамы; и быстротечное небо несется, чтобы прогнаться под утро: уйти восвояси.

Впечатления.

Впечатления первых мигів мне — записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — образовано.

Образование меняет мне все: —

— и почки моих впечатлений дробятся —
— душою моею! —

— и риза мира колеблется; по ней каплются звездочки законами пучинного пульса; и безболезненно гонится смысл любого душевного взятия метаморфозами красноречивого блеска, где почка —
— понятие! —

— множится многим смыслом; и вертит, и чертит мне звенья летящей спирали: объяснение — возжение блесков; понимание — блески в блесках, где ритм пульса блесков мой собственный, бьющий в стране танца ритмов и отражаемый образом, как —

— память о памяти!

Преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатление деп-

ских лет — пролеши в небывшее никогда;
и — тем не менее сущее; существа иных
жизней теперь вмещались в события
моей жизни; подобия бывшего мне — со-
суды; ими черпаю я — гармонию беспо-
добного космоса.

Память о памяти — такова; она —
ритм; она — музыка сферы, страны —
— где
я был до рождения!

Воспоминания меня обложили; воспо-
минание — музыка сферы; и эта сфера —
вселенная. Впечатления — воспоминания
мне моей мимики в стране жизни рит-
мов, где я был до рождения.

Синий глаз — добрый глаз.

— «Ско́лько надежда дорогих» — поет
мама, бывало...

— «Ско́лько счастья» — подхватит,
бывало, двоюродный мой дядя.

— «Бла́гих» — сливаются голоса...

Свепослужение — начинается: —

— свои
глазки закрою я; их потру кулачками; и
возникнет в закрытых глазах моих
центр —

— желто-лиловый, бьющийся, свет-
лый! —

— и трепеты молний, из центра

летающих спиралями, и исходящих мне почками блесков, дробимых метаморфозами красноречивейших светочей.

Желтолиловый центр — счастье; а светопись молний — мои дорогие надежды; образуют мне — светлую ризу под веками; я потру кулачками глаза; и светлая риза колеблется; по ней катятся звездочки и развивают хвосты светлых блесков — вокруг лилового центра; и из светочей вылагаются: образы и подобия комнат; это — комнаты космоса; это — таимые комнатны; это — церковь, перенесенная мне под веки; папа там на мгновение возникает; перебегает мне комнаты: кивает, как память о чем-то; и образует проход — в иной мир: желтолиловый центр мчится навстречу мне, раздвигается в синий глаз; синий глаз — добрый глаз: он моргает ресницами блесков; он — ширится; и громаднейшим синим кругом несется навстречу; мгновение: —

— я бросаюсь туда, в эти звенья летающих спиралей и в ритм пульса блесков (мой собственный), где я —

— был до рождения!..

Мгновение — я забылся: и с открытыми глазками протянул свои ручки на-

встречу:—

— из под моргающих век улетел космос света; и — васильковая комната передо мною: все та же.

«Сколько надежд дорогих,

«Сколько счастья!..»

Блески — счастье: они — дорогие надежды; и синий глаз — добрый глаз! — небо; и небо люблю я; люблю лучики; миллионами светлых пылинок клочкуют они; я тянусь к ним: их взять моей ручкой; и — свободно проходит рука в ясном блеске пылинок; огоньки свечей и, главным образом, маминьы алмазные серьги вызывают воспоминание во мне: моих замкнутых глаз и под веками светлого желтолилового центра, бьющего блеском молний и открывающего мне проход —

— В
иной мир.

.

Синий глаз узнаю я и после: он — глаз в треугольнике; этот глаз — в церкви Тихона-на-Тупичках — видел я.

Самосознание.

Самосознание этих мигів — отчетливо: —

— самосознание: пульс; мыслю пульсом без слова; слова бьются в пульсы;

и каждое слово я должен расплавить — в текучесть движений: в жестикуляцию, в мимику; понимание — мимика мне; и трепет мысли моей: —

— есть ритмический танец; неизвестное слово осмысленно в воспоминании его жеста; жест — во мне; и к словам подбираю я жесты; из жестов построен мне мир; передо мной пробегают слова: папы, мамы, Дуняши, профессора которого я запомнил в то время (он — в желтом); и слова напечатаны на душе мне неизвестным гироглифом: —

— и смысл звуков слова дробится —

— душою моею —

— и понимание мира не слито со словом о мире; и безболезненно гонится смысл любого словесного взятия; и понятие прорастает мне многообразием передо-мною гонимых значений, как... жезл Аарона; гонит, катит значенья; переменяет значенья...

Объяснение — воспоминанье созвучий; пониманье — их танец: образование — умение летать на словах; созвучие слова — сирена: —

— поражает звук слова «Кре-мль»: «Кре-мль» — что такое? Уж

«крем-брюлэ» мной откушан; он — сладкий; подали его в виде формочки — выступами; в булочной Савостьянова показали мне «Кремль»: это — выступцы леденцовых, розовых башен; и мне ясно, что —

— «кре» — крепость выступцев (кремля, кре-ма, кре-пости), а: — м, млб — мягкость, сладость: и потом уже из окошка черного хода (ведущего в кухню), где по утрам водовоз бьстроливным ведром наполняет нам бочку, — показали мне: на голубой дали неба — кремлевские башенки: розоватые, крепкие, сладкие: —

— эти башенки — животечные звуки слов, восстающие подкидною линией красок; и — самоглавым собором; линии — беги ритмов, цветущих мне сонно-знакомою мимикой —

— свои глазки закрой; и — потри кулачки: животечная светопись молний из лилово-желтого центра — летает, блистает; центр — пульсирует молниями: —

— животечная светопись молний — слова; а пульсация — смыслы; животечная светопись слов гонит в сон; гонит в комнаты смысла: —

— понятие (душевное взятие слова) есть светописль дробимого ритма; она ветвится, как древо; и возжигается блеском образов, точно свечек на елочке; но ритм пульса блесков — мой собственный, бьющий в стране танца ритма и отражаемый образом, как память о памяти.

И впечатления слов — воспоминания мне.

*Валериан Валерианович Блещенский сгорает
от пьянства.*

— «Валериан Валерианович Блещенский...»

— «Что такое?»

— «Сгорает от пьянства.»

И Валериан Валерианович Блещенский встает предо мною: черноусый, в мундире со шпагою, и — в треуголке с плюмажем — в огнях; звеня ярких спиралей прескучего пламени возжигают в нем блески; Валериан Валерианович Блещенский дробится огнем светлых дымов и уж гонится он —

— метаморфозами дымных пеплов на небе; или он прогоняется мне под веки (кулачком потру я глаза) и там кружится он на фонтанных огнистых хвостах, в пьянстве светов, в метаморфозах красноречивого блеска:

его — нет; он — сгорел; мир сгорит от огня; светопреставление — гибель вселенной в пламенных ураганах на нас летящего ока; Валериан Валерианов — мне уже преставился в свете: сгорел в беге блесков.

От него остался лишь пепел.

И вот снова звонится к нам Валериан Валерианович Блещенский, как ни в чем бывало.

Валериан Валерианович все равно, что полено: деревянная кукла он; деревянная кукла в окне парикмахера Пашкова мне известна: она похожа на Блещенского; Блещенских продают саженьями; и потом их сжигают; Поликсена Борисовна Блещенская покупает себе Валериан Валериановичей саженьями; и постепенно сжигает их: одного за другим.

И пока один из них к нам заходит с визитом, другой уже —

— распрещался в камине в спиралях летящего пламени и выгоняется метаморфозами дымов под небо: сгорает от пьянства.

Объяснение — вождение блесков; понимание — свет под веками; и Валериан Валерианович Блещенский возникает в глазах из желтополилового центра спиралями молний.

Мамочка едет на бал.

Моя милая мамочка — молодая; и — ходит себе именинницей; а бледноустая тетя Дотя разводит... грустины и праздно-глазо уставится в мамочку: мамочка скажет ей:

— «И в кого ты такая».

Щечки маминьы — полнокровный, розовый мрамор; и твердые руки — в трещащих браслетах: с Поликсеной Борисовной Блещенской, в великолепной карете, поедет — на предводительский бал: веера, сюра, тюли! В мочках ушек алмазные, мелкогранные серьги слезятся перебегающим пламенем; мамочка — в балльном, бархатном платье, в опопонаксовом воздухе, из нежно кремовых кружев склонила свою завитую головку и веющим веером: на меня гонит холод...

Тетя Дотя разводит кислятину; старая бабушка курит опопонаксом; из пульверизатора вылетает струя; из пульверизатора прытко прыщутся шипры; и этими смесями душится мамочка; завитые валиком волоса —

— пуф-
пуф-пуф! —
— по-

крывает пудрой пуховка: двенадцати-
свечие — в зеркалах (по четыре свечи — в
трех углах: по четыре свечи в зер-
калах!). Зажмешь глазки; текучая све-
топись самородного блеска уже за-
качалась в закрытых ресницах: —

— и мне

кажется: —

— мамочка в великолепной ка-
рете, от нас проедет под аркою: в
иной мир и в светлые сферы ма-
зурок, где Миловзорилов в малино-
вом ментике гремит ясной шпорой,
а красногрудый гвардеец, Гринев,
гордо выпятил грудь, где раскинувши
в воздухе фалды фрака двубакый
Азаринов завивает валс в белом
блеске колонн; и неслышно не-
сутся за ним — на легчайших спира-
лях...

И Поликсена Борисовна Блещенская
позвонила... за мамочкой; мамочка в ро-
тонде проходит; карета несется по ули-
цам; за каретой ряды огней: ряды убе-
гающих дней — в рой теней; —

— людоедное
время хоронится там, в туманных роях;
людоедное время погонится на чернорых
конях...

.

Маминьы впечатления бала во мне вызывают: трепетания тающих танцев; и мне во сне ведомых; это — та страна, где на веющих вальсах носился я в белом блеске колонн; и память о блещущем бале — одолевает меня: светлая сфера не нашей, за нами стоящей вселенной, где... —

— раскинувши в воздухе фалды фрака въет вальсы Азаринов, где красногрудый гвардеец Гринев гордо выпятил грудь в белом блеске колонн, где Владимир Андреевич Долгорукий... —

— блещущие существа посещают нас, и смещают мне представления: драгун, дракон — то же; появился однажды он: в розовордяных рейтузах; я все трепетно ждал: вот он будет из уст нам выкидывать пламени; но этого не случилось... И был — Глянценродэ (огромная шапка с султаном!): носолобый, запутанный в серебро; впечатление блещущих эпозет было мне впечатлением: трепещущих танцев; и потянулся я все к колесикам шпор; воспоминание это мне — музыка сферы, страны —

— где я жил до рождения!

Папа.

Быстроглазый мой папа: приземистый, головастый, очкастый; множит нам толчею; и — угоняет нам смыслы.

Распахивает столовую дверь; и оттуда он смотрит, как... память о памяти; память о памяти такова: она — проход в иной мир; и папа вторгается из проходов поговорить, пожить с нами; и образуется — что бы ни было; образования — строи; папа — строит нам строи мыслей, приподымая при этом очки и впережая добродушно на нас; это он — учит мамочку:

— «Математика — гармония сфер... Риза мира колеблется строем строгих законов: по ней капятся звезды... От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к нам, знаешь, три года»...

В очках дрожит солнышко; я — закрываю глаза; и — умножаются блески; и — светлая риза колеблется; пролетели все смыслы, а папа стоит, открыв дверь в кабинетик оттуда он смотрит.

И поплачу я за окно — в ясноглавое облачко.

Вот, бывало, заря; вот — оконная рама; вот — я: бабушка, мама и я — мы живем своей жизнью; а папа врывается... из за

книжного шкафа; и — убегает обратно: к корешкам толстых томов, таящих в себе все какие то иероглифы: —

— дифференциал, интеграл! —

— я их знал:

до рождения!

— «Математика — гармония сфер»...

А мы папу не слушаем; и нос уткнет в книгу он: вертит — чертит на листики звенья какой то спирали; а войди к нему в комнату: он в распахнутом, пыльном халате целится в толстый томик: в него бьет пыльной тряпкой; моргает в закаты...

Вижу я мамочкин взгляд, переведенный на папу.

Бабушка оправляет косынку; мамочка оправляет наряд; мамочка моя, как... картинка; папин опущенный взгляд: папа у нас как бы... «так». Я — не рад, видя мамочкин взгляд, переведенный на папу: —

— воспоминания облагают меня; это — не бывшее никогда; и точно — бывшее прежде; папа мне — существо иной жизни; ходит с согнутым томиком, и, махая рукой, ею черпает гармонию бесподобного космоса: —

— папа

мой — математик Летаев; и папа — мой папа: только мой, ничей иной; математик Летаев не может быть папою никому на земле; он — папа мне; и почему это так, что папа мой — математик Летаев.

Разве я виноват?

И поплачу я — за окно: в ясноглавое облако.

.

Знаю я: —

— математику чистится сюртучок; и он, быстротечный, несется посиживать: —

— в Университет,

— в Совет! —

— если же математику не сидится на месте, то математик забродит: без толку и проку по кабинетику — от книжной полки до полки; барабанит пальцами: по углу, по столу, по стене; прибормочет, пришепчет — приземистый, темноглавый, очкастый:

— «Эн-эм два на це три!»

Тарарах-тах-тах-тах!

— «И по модулю шесть...»

Тарарах-тах-тах-тах!

И тонко очиненным карандашиком чертит-чертит на листиках.

И что он набормочет, нашепчет, то — расскажет им всем: Василисиму, Припатаенке и Брабаго.

Василисимов — «конгруирует».

Серафима Гавриловна, с бабушкой и старой девою Верой Сергеевной Лавровой, на математиков собираются посмотреть: из гостинной; и разводят руками на них — из за листьев лапчатой пальмы.

— «Математики... Ученые... Головы»...

— «Все у них там — свое»...

— «Дифференцируют там они!»

.

А бывало папа, прояснясь, наклонится великаньим лицом; и — ясновзорным, и — добрым, с растормошенными космами и устало раскосыми глазками; и уставится ими в душу; на заморщенный выпуклый лоб приподнявши блеск очков, осторожно положит мне ручку на свои большие ладони и из усамого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; и легкодышащим ртом что-то шепчет про небо:

— «оно — сфера: гармония бесподобного космоса — в нем: по нем катятся звезды законами небесной механики»...

И чертит и вертит под носом моим карандашиком звенья спирали; и впечатляет мне в душу; и точки моих впечат-

лений — дробятся; и риза мира колеблется.

Наливное, безглазое облако — посмотрию — там проходит за окнами; своим пламенным ободом ополчинится в небо.

Пассаж.

Изредка берет меня мама.

И на саночках, мимо саночек, пролетаем мы — в саночки: в белом шипне метелицы; из метелицы — в вьюгу; из переулков и улиц — переулками, улицами: в переулки и улицы.

Переулки и улицы пролетают домами.

И уже таинственно пахнет Поповский пассаж; и надо мною, пустой, раздается он гулками переходами сводов; зажигают лапчатый газ; в окнах лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: веера, сюрта, тюли.

Мы бежим прямо в дверь, и —

— приказ-

чики принимаются —

— из стены выхватывать валики и кидаться ими в прилавки, и вертась на руках, по прилавку забьют —

— вам —

— вам-вам —

— волосистые

валики, разливая бордового цвета материю; и — на маминьы руки! Мама щупает добротность материи, а галантерейный приказчик над нею разводит руками; и говорит ей:

— «Шан-жан!»

И уже накладываются желтые, плотно-сжатые плитки; развернутся, раскроются; и — ах! — все малина; развернутся, раскроются; и — ах! — все в шелках.

Мамочка zalюбуется желтокрасным атласом; из руки приказчика остервенело лязгнули ножницы; закусались и прытко запрыгали по желтокрасным атласам: опихватить атласа и нам.

Мы выходим; мы — вышли; и — видим уже, что взлетел подкидной огонек; что на улицах поредел людоеход; тихий месяц прорезался; чешется многогрудая психа о трубу водостока: спиною; и — звездное небо выносится — от зари до зари, чтоб другое, беззвездное выгнать: от зари до зари.

Уже мы — к носорогой портнихе; черная, она выскочит каркнуть нам:

— «Ну, и атлас: ну и вкус же у вас!»

Забодается длинным носом на маму... Мама все ей отдаст; и она убежит за альков: раскромсать нам атлас.

Вновь на саночках, мимо саночек, пролетаем мы в саночки; приморозило, а — тепло мне под полостью; вздернешь голову вверх: иззвездилось все — до-нельзя; неосыпное небо кипит, дрожит, дышет: переливается звездами:

— «Нет, нет, нет: ты — не папин, не — мамин... Ты — мой!..»

А млечный путь — приседает.

Четырехлетие.

Четырехлетие перечертило жизнь на двое: я как бы пересыпался из эпохи в эпоху —

— понимаю я пересыпь поколений — из эпохи в эпоху: за сквозным людолетом времен проясняется явственно — ангел эпохи —

— иная эпоха мне светит: —

— будто ночь, мрачный бык, бодал стены столовой; блескородные диски кидались спасительно в окна; жизнь освещалась моя: будто: —

— на вновь образованной суше приподнялся я со дна океанов, где виделись гады; но суша сознания простиралась: моря отступали; самовольные воздуха наполняли мне легкия;

иногда начинало душить: это — прогались заросставшие жабры во мне древним ужасом; и подымались — гадливости; в миголетах времен начинал я дрожать, потопляемый миголетами времени; да, я плакал в пучинах: и —

— впоследствии, будучи уже гимназистом, прочел, что к Калингуле приходил... Океан; приход Океана был ведом мне в детстве: Океан и Титан — это прощупы прежних бездн —

— (мне впоследствии представлялся Титаном, огромным и грохотным — Помпул) —

— эти прощупы гонятся: стародавним Титаном.

Титан бежит сзади.

.

Между тем все менялось: сухо веяла в окна метельная пересыпь; а потом: рыхло стала носиться она, — омягчая дома в навеваемой снежини; тепленело: вставали туманы; закапало бисерным дождичком; после дождей — гололедица: лединица блистает; и — хруст ледорогих сосулк; и — ломко, и — скользко.

Уже нет снегопада; в сырых, в обливных деревьях — ветроплясы стоят; кудре-

ваго дымы выпрыгают из труб и расчесанно низятся склоны их; уже моют нам стекла окон: и — запах замазки; стаканчики яда стоят; убирается вата; открыто окошко.

И грохотно.

Я внимательно изучаю дома: по Косяковскому дому я знаю, что все это — тайны; может быть, в тех домах нет печей; может быть, — там не водятся папы и мамы, но дяди и тети.

Перевивы орнаментов, надоконные арабески и полные каменных виноградных гирлянды — глядятся нам в окна; то — розовый дом Старикова; но вот столб желтой пыли взлетит с мостовой. и окно — закрывают.

Глава четвертая.

ОЩУПИ КОСМОСОВ.

О, страшных песен сих не пой!..

Ф. Тютчев.

Вселенная.

Все смотрю я из окон: —

— примечатель-

но мне говорят: жесты каменных, стальных, длинных линий, — подающие кучами крыш окопченные трубы — под облако, которое вылагается в небо; на трубе сидит кот; к ней идет трубочист; с малой лесенкой, с гирями; грохотно скалится мостовая, — внизу: крепким, белым булыжником; многогрохотно бредит она —

— ррр... ррр... ррр... —

— с колесом

ломового, с пролеткой, — внизу из ущелий: в безмерностях переулков и улиц, ведущих в тупик — к мировой беззаконной стене с водосточной трубою, в ко-

порой зияет жерло в никуда, и откуда в дождливые дни изольются небесные хляби; жерло ведет в бездну, около которой сидит рваный нищий и указывает на страшную свою язву; песик тоже почешет о край водосточной трубы, о дыру, безволосую спину свою; и — скулит там: над бездной.

Троптуары, асфальты, паркеты, бренд-мауэры, тупики — образуют огромную кучу; эта куча есть мир; и его называют «Москва»; на асфальтах, паркетах, брендмауэрах повисает «Москва» посредине пустого огромного шара; в этом шаре живем мы; он — небо; открываются форточки в нем; и — пропускается воздух; этим делом заведует: пристав Пречистенской части, проживающий в каланче и оттуда нас извещающий приподнятым шаром, что он бодрствует и что «мир» безпрепятственно повисает. Окончание нашей квартиры — глухая стена; если в ней пробить брешь, то небесные хляби — хлынут; и будут потопы; по булыжникам будут пениться белогривые волны; и «Москва» переполнится, как... водовозная бочка.

Между тем, за глухою стеною, вне мира, давно проживает — сосед: Христо-

фор Христофорович Помпул; непосредственно за стеной тяжело повисает во мрак — его письменный стол; и четыре колесика кресла блистают — в ничто; в нем — то вот воссел Помпул, с огромнейшей книжищей; и кололится ею — нам в стену; полосатый живот из за кресельных ручек урчит и громами и бредами; в животе — блеск огней; будущи — разорвется он в стену ударит осколками; образуется черная брешь: в нее хлынет потоп.

Помпул.

Христофор Христофорович Помпул — был совсем как... буфет хоть и жил он вне мира, за нашей глухою стеною, он все же в «мир» хаживал.

Если бы хорошенько приплюснуть наш столовый желтый буфет, то середина буфета бы вспучилась; было бы — набухание; было бы — круглотное брюхо буфета: в никуда и ничто; были бы уши рвущие грохоты посудных осколков в буфете; и был бы он — Помпулом.

Говорилось у нас: собирает все какие то данные Помпул; за статистическим данным бросается в Лондон; и Лондон, я знал, есть ландо (ландо видели мы на Арбате). И Христофор

Христофорович Помпул в моем представлении целый день гнался в Лондоне за статистическим данным; по-есть: целый он день, проезжая в лондо, (его все-то обыскивал он) — с двумя желтыми баками; и — во всем полосатом; полосатое — думал я — и есть образ жизни: по статистическим данным.

По ночам же он, наперекор всему, — заводился у нас за стеною: вне мира... —

— я впоследствии знал его комнату; я впоследствии понимал: заводился он среди очень громких предметов, безалаберно там возился; и вытаскивал переплетенные томы — огромнейшей библиотеки; погромыхивал колоотясь ими в полки, в столбе книжной пыли; мне казалось: кто-то там заживал; слышалось наступление дубостопного шага; из-за стены — в коридоре; чуялась: неотделенность стеною от шага; и стало быть: появление Помпула у постельки; и — с толстым томом в руке; думал я: вот идет теперь Помпул: —

— и глухо бубукали звуки — из мировой пустоты: выбивал

Помпул пыль; и от этого дубостопный
буфет начинал будоражиться.

Ломает пролетки.

Мы однажды весной шли гулять: было
страшно. Над нами слезал тихолазный
толстяк —

— «Беда: это—Помпул».

Христофор Христофорович переламы-
вал оси пролеток: подстережет он извоз-
чика и бросается на него—прямо в Лон-
дон: ось—лопнет; извозчик—ругается; я
увидевши Помпула, сзади спучающего жел-
той палкой, все-то думаю о извозчике
Прохоре—о лихаче; мне хочется выбе-
жать: перед Помпулом хлопнуть дверью;
и—раскричаться на улице:

— «Беда...

— «Помпул сходит...

— «Спасайтесь, извозчики!..»

Извозчики от него—врассыпную, бы-
вало; где проходил по улице Христофор
Христофорович, спуча желтой палкой о
пумбы,—там пусто: ни одной пролетки
уж нет; а за углами их—кучи; они ожи-
дают; желтокосмый там Помпул прой-
дет; с грохотом после этого они вкаты-
ся снова на белые крепкие камни.

— «С нами, барин!»

— «Пожалуйте»...

Выкинется, бывало, пролетка — из-за угла, невзначай; и уже несется она в глубину Арбата — от Помпула.

Христофор Христофорович это знал; и припаившись на корточках за стеной переулка — пыхтел он ужасно; и отирал себе пот с крепкокостого лба полосатым платком; и вот — едет пролеточка: Помпул, уже увидев ее, задрожит; и подкрадется на карачках к углу перекрестка, чтоб прыгнуть в нее невероятно огромным прыжком: полосатым своим животом; и тогда-то вот, на переломленной оси, катается в «Лондоне» Помпул; и собирает в нем «данные».

.

— «Да — вот, знаете: Христофор Христофорович — то — ломает пролетки»... —

— доканчивал папа свою небылицу (смутно помнится это), лукаво смеясь и блистая очками; я — верю; а мама — рассердится: небылицы не любит она.

Папа скажет ей:

— «Врать ты мне не мешай: а не любо — не слушай»...

Лев Толстой

Смутно помнится: папины небылицы выслушивал — Лев Толстой их любил.

Лев Толстой—кто такой?

Я не знал, что такое — толстое (или, что-ли—толстовство): ну, там,—звание, как звание архиерея, попа, математика; и где водятся архиереи, там есть и толстые; так бы я ответил тогда на неуместнейший вопрос о Толстом; если бы в это время я знал, что университетские города существуют повсюду, то я бы ответил, что на город приходится: по математику, губернатору, архиерею и... Льву Толстому; впрочем, я знал один город (о нем говорилось, что мы туда едем); и этот город есть «Клин».

Всякий город есть «Клин»...

.

Видывал в это время и я—одного Льва Толстого: он пришел к папе в гости; сидел в красном кресле; ввели меня и сказали:

— «Вот—Лев Николаевич»...

Я его не запомнил. Он брал меня на руки: но запомнились очень ярко: пылинки на серых толстовских коленях; и огромная борода, щекопавшая лобик мне.

Эти бороды, думал я, верно львиные гривы «Толстых»; и я думал: о небывлицах, об оси пролеток, о Помпуле, о коспромском мужике и о пророке Магди; про «мужика» и «Магди»—это папа рас-

сказывал: всем московским извозчикам; и гремело папино имя в городских ночных чайных; извозчики, собираясь туда, передавали рассказы: о «мужике» и «Магди»...

.....
Помню после уже: из метели выносятся саночки; в саночках папа несется — в огромной еноповой шубе; и из нее торчит—меховой колпак шапки, очки, два уса; прижимая к груди свой портфель полуразорванным меховым рукавом, заливается смехом мой папа—грохочет извозчик:

— «А костромской-то мужик?»...

— «Хе-хе-хе-с»...

И—уносятся саночки.

.....
Я однажды встретил извозчика (тому назад—шесть-семь лет); это был сутуленький старикашка, который узнал меня:

— «Как не помнить вас: были вы Копенькой-с...

— «Как-же-с: барина-бапюшку помню... Хе-хе-с... Михаил Васильевич-с... Шутники-с... Ему скажешь, бывало: на Моховую на улицу... А они-то, бывало, расскажут: о мужике да о чорте.

— «Не гнушались простым человеком... Бывало: стараются...

— «Вечная память им».

Профессора.

Подозрительно я встречаю гостей—профессоров и директоров казенных гимназий, потому что я знаю про них:—

— все они—Украшения; и потом еще: все они—изваяния; они украшают Империю: это слышал я от тети Дотти и бабушки; а о том, что они крепко-лобы, я слышал от дяди Ерша: бьются лбами о стены они; и все прочие мне говорят, что «профессор» — маститость—

— то-есть, то, чем мостят; и у меня слагается образ—

— «Империю», то-есть, какого-то учреждения вроде Казенного Дома: колоннады, или—ну, там, карниза, подпертого теменем, очень крепким; становится ясным: профессор—

—приходит с карниза. —

— И меня уже грызут мысли: о ненормальности телесного состава «профессора»; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле профессора ведь должны быть ужасны; ведь он весь какое-то-то, да не то; я со страхом, бывало, все вгля-

дываюсь в их бескровные, мрачные лица да, их лбы—тяжелы, бледнокаменны; их стопы — тяжкокаменны; голоса — скрипки о булыжник...

Профессора и «доценты» —

— бывало, сойдется к нам славная стая их (со всех московских карнизов); и рассядется: в красных креслах гостинной: горластые дымогоры взлетают —

— ударяя пальцем по креслу, бывало, плетет Грохотунко—известь: и—ветви извешов —

— а я не пойму; и—дрожу —

— от бессмыслицы громких слов и таимого ужаса «профессорской жизни»; и старинные бреды подымутся: —

— сам «профессор» есть прощупь в иную вселенную, где еще все расплавлено и куда профессор несет свои бреды; в них носится, как, бывало, носилась старуха; старуха—жена его; моя крестная мать, Малиновская, есть старуха—профессорша. Очень часто профессор—старик.

.

Стариков и старух я боюсь.

Брабаго.

И когда к нам звонится, кряхтя, головастый Брабаго, то боюсь я Брабаго; Брабаго ощупывал взглядом; щипался глазами; свинцовая боль подымалась в виске...

Голос Брабаго ужасен: грохотом головастых булыжников разбивался нам громкий брабажинский голос; и всякие «абры», «кадабры», бывало, как камни, слетали из кровогубого рта; разбивали толк в полоки; и толочили толчею.

Папа мой, бывало, не выдержит, задрожит и подскочит:

— «Как же вы это, мой батюшка: ведь это все только громкие фразы».

А Брабаго каменно принависнет над креслом, да на меня, притихшего в ужасе, он уставится красным ртом; и—очень злыми глазами; и лицо его наливается кровью, точно зоб индюка; и я—тихий мальчик—бегу: прямо к Раисе Ивановне, на колени:—

—и плачу, и прячу—головку: в колени; все—душит; все—давит; кудри мои беспокойными змеями покрывают мне плечищи; все-то кажется мне, что Брабаго там лезет: подпалзывает; при-

падает ко мне; и мне рушится в спину:—
—В
красный мир колесящих карбункулов рас-
падаетя мрак.

Посылают за доктором.

.

Раз я его подсмотрел:—

—как он, описывая
спиною дугу, приобился под тяжко-
грузным карнизом кирпично-красного до-
ма—в Криво-Борисовском тупичке: непо-
далеку от домика Серафимы Гавриловны,
куда мы ходили с Раисой Ивановной; он,
Брабаго, одною рукою поддерживал грузы;
другой он рукою сжимал—опрокинутый
каменный светоч, и, описывая спиною
дугу, собирался обрушиться на меня кир-
пично-красным карнизом; протянулась его
белая голова с будто жующим ртом и с
пустыми глазами; и—смотрела мне вслед
глухую, особою, стародавнюю жизнью.

Дом Косякова.

Впечатления—записи Вечности.

Если б я мог связать воедино в то
время мои представления о мире, то по-
лучилась бы космогония.

Вот она:—

— Дом Косякова, мой папа и
и все, что ни есть, Львы Толстые—

мне кажутся вечными:—

— все, кру-
тясь, пролетает во мгле, но не дом
Косякова:—

—до Арарата он встал из
трепещущих хлябей; кусочек Арбата—за
ним.

Папа мой переезжает немедленно: в
номер одиннадцать; что-то там обра-
зует и пишет; между тем: образуются
облака, образуются прогуары; мостят
мостовую; с дальней крыши пожарные
Пречистенской части поднимают огром-
ное Солнце; и законами пучинного пульса
с Дорогомилова пристает к нам Ковчег;
и из него, из Ковчеха,—

—с грохотом вы-
гружается: Помпул; и—что бы ни было;
Помпула тащит дворник, Антон, в но-
мер десять, в квартиру, соседнюю с
нами; и она же есть—мировое ничто;
и бубукает Помпул; и мировое ничто
обставляет бубуками он; в него с лест-
ницы ведет дверь: золотая дощечка на
ней: «Христофор Христофорович Пом-
пул»; дощечка глядит, точно память о
времени допотопного бытия, откуда
втащили к нам Помпула...—

— папа мгно-
венно по этому поводу покупает: дубо-

стопный буфет; Помпул бьется к нам в стену: буфет гроыхает посудой...

.

А по Арбату уже:—

—в серой войлочной шляпе и в валенках пробегает в Хамовники... Лев Толстой; и там раздробляется он в «толстовство» законами пучинного пульса; и о толстовцах мы слышим; «толстовцы» бывают у нас; а смысл—колобродит: метаморфозами образов; метаморфоза проносится пылью по улицам; и возжигается: блеск объяснений над ней, потому что—

— в то самое время с чердака выпускается на зеленую крышу луна: спруит блеск над блеском; и над фонарными огоньками несутся сияния;—и умножаются блески катимой луною; луна, описав дугу, падает—

—под пропугары: за парфюмерным магазином «Безбардис».

.

Папа все это создал, бац-бац быстро хлопает дверь допотопного дома; и—

—папа мой с мировой историей многосмысленно утекает из косяковского дома:—

—в Университет,

—в Совет,

—в Клуб!—

—Наполеоны, Людовики, Кироксерксы и гунны пролетками громыхают за ним:

— «Со мной, барин».

И—угоняется смысл: на нем Помпул сидит, оповещая Арбат дребежжающей рессорой, что он видит данное: видит данное мне представление о мире.

Оно—несколько фантастично: что делать.

Так я видел действительность.

.

Нет уже Льва Толстого. И нет академика Помпула; Тертий Филиппович Повалихинский заседает в Верхней Палате, благополучно избавившись от тевтонского плена (по последним известиям он скончался: мир праху его!); над могильным крестом двенадцатилетие падают снежинки на надпись:—

—Михаил Васильевич Летаев—

—мировая брань не окончена; рушатся в громе пушек соборы; и утонул Китченер; риза мира колеблется: скоро попадают звезды...—

—Непадает дом
Косякова; он все так же стоит; и—кусочек
Арбата пред ним.

Рухни он,—все исчезнет.

«Я».

Описанное — не сознание, а — ощупи:
космосов; за мною гонятся прощупи
по веренице из лет: стародавним пита-
ном: питан бежит сзади.

Нагонит и сдавит.

В детстве он проливался в меня; и я
ширился от моих младенческих в'ятий—
питана.

Но ощупи космоса медленно преодоле-
вались мною; и ряды моих «в'ятий» мне
стали: рядами понятий; понятие—щип
от питана; оно—в бредах остров: в бес-
толочь расбиваются бреды; и из толочка—
толчей—мне слагается: толк.

Толкования—толки—ямою мне вдавили
пол землю мои стародавние бреды; над
раскаленною бездною их оплотнела
мне суша: долго еще средь нея натыкался
я иногда: на старинную яму; и из нее вы-
гребали какую-то нечисть; и ужас вил
гнезда в ней; с годами она заростала;
глухонемою бессонницей тяготила мне
память, она. Тяготит и теперь.

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир—лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это—рост; я—росту; и иногда себя вижу повернутым и склонившимся в ошупи, шелестящие, как дрожащее древо—о прошлом.

Об утрате старых громад повествует мне ветер—в сумерки, из трубы; и прощаюсь со старою былью: о рухнувшем космосе... Гроыхает, а папа склоняется; и склоняся, шепчет мне:

— «Гром—скопление электричества».

А над крышами в окна восходит огромная черная туча; тучею набегает—типан; тихий мальчик, я—плачу: мне страшно.

.

Я внимательно изучаю дома; и московская улица—передо мной возникает стенами; и—орнаментной лепкою.

Переживы орнаментов, арабески, вазы, полные каменных виноградин; гирляндсй опутанный бородач на меня вперяет свои две пустые дыры; я его узнаю: это он, Дорионов; из раскаленного состояния он перешел в состояние каменное: он помится теперь, прислонясь к углу дома, поддержкой карниза; как бы он не соскочил и, потрясая лепною плодовой гирлян-

дой, как бы не принялся он оттопачивать по крепкозвучным булыжникам, поспешая к портному Лентяеву; себе шить сюртучок.

Гибель.

С вечера громыхал Христофор Христофорович Помпул за нашей стеною: так еще он никогда не гремел; да, все—рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь: грохотали пожары; казалось: в страшных тресках разрушились пропутьары и крьши; и—осыпались дома; хляби хлынули в окна: думал я—за стеною, как бомба, разорвался тресками Помпул,—пробивая в стене нам огромные дыры.

Вселенная кончилась: тьма. Ничего я не помню.

.

Вскоре помню опять: громыхало и рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь и освещались не стены, а—обступившие толпы Мавров, взирающих очень строго из разлетевшихся складок одежд.

.

Утром вижу я:—

—толпы Мавров—очень многие темнородные пятна перепиленных суков на деревянных стенах неизвестной мне комнаты; мне к постельке скло-

нилось молоденькое лицо с завитыми кудрями; и говорит, с ясным смехом, что уже мы в деревне, в Касьянове.

Молодое лицо с завитыми кудрями—Раиса Ивановна. Помолодела она.

.

«Мир», Москва, переулки распались; и чернородные, жирные земли простерты повсюду; рухнула мировая, глухая стена; и показались за прудом, куда все провалилось—проглядные дали.

.

Воспоминание об упрате громад меня давит: повествует ветер в полях мне о рухнувшем космосе: «Городе»; в облачной стае башен плывет этот «город»; тени поля—прошлым: о Москве, о стене, что-то такое пытаюсь припомнить; не помню; и—мучаюсь.

Грусть.

Небывалая грусть охватила меня.

Отступило мне все и ушло в кущу листьев: предметы, события, люди; даже — папа и мама.

В прежде бывшей вселенной, в «Москве», —

— вспоминаю я, —

— мое «я» было свя-

зано с лабиринтами комнат; и комнаты мне менялись мгновенно: от моих о них мнений; все обставшее связано с «я»; все предметы меняются: нянина голова мне появится; я подумаю, что мне страшно; и — вот: —

— вместо няниной головы блестя лампа; обои дымятся на стенах: пестреют мне образом; —

— весело, и — уже: за стеною во тьме папа с мамою веселятся кадрилями; грустно мне, и — уже: чернобровая девка, Ардаша, выходит из-под-полу...

Это все — отвалилось: все события и предметы от мысли моей отвалились; действия мысли в предметах, метаморфоза предметов при моей о них мысли — все теперь это кончилось: весело — за стеною уже папа с мамою не веселятся кадрилями; грустно — и девка Ардаша не вылезает из-под-полу.

Все лежит вне меня: копошится, живет, — вне меня; и оно — непонятно.

«Курица»... это... это... какое-то: гребенчато-пернатое, клохчет, клюется, топорщится; не меняется от моих состояний сознаний; непроницаема «курица»; вместе с тем мне она совершенно опичеплива; и — блистательно мне ясна в

непонятностях своей растопорщенной, клювной жизни.

Вот он «я»... А вот — «муха».

И она меня мучает.

Все, что ширилось, расширяло меня, вне меня вылипаясь стеною: ужасно распалось, раз'ялось на части; омертвело землей, испаряющей вечером пар над душистыми травами; и — побежало по небу: обелоглавило небо; —

— облака бегут на громах и на молниях, а дни — на ночи: повторяют себя на — ночи; —

— светлорогий пастух зовет рогом меня; черный бык — ночь — мычит на меня...

.

По вечерам, над столом, под открытым окном: мы сидим; и — молчим: краснобрюхий комарик сразмаху ударится в лампу из мрачного парка; вдруг околнётся все; посребреют глазастые окна; посмотрят, закроются; проговорят перекапные грома; и это все непонятно.

Пролетка проехала?

.

Где Москва?

Развалилась она: никогда не увижу ее.

Я смотрю: и я думаю.

Передо мною на столике молочко: в круглой глиняной кринке; и — два яйца в смятку; а я, тихий мальчик, прислушиваюсь: —

— об упрате старых громад повествует мне ветер: о рухнувшем космосе (грозами рушатся космосы; и восставая над липами, набегают Титаны на нас — бородастыми тучами) —

— передо мною на столике молочко: и оно — белопечно; и повествует мне ветер о рухнувшем —

— где-то близко за окнами... —

— Все по воздуху веяли; где-то близко за окнами: самозвучные кущи кипели: то липы; и — лето ходило по липам; и рушились космосы: липовых листьев; и чащи кипели листьями; и сочноствольный лесок кипел тоже...

.....
С террасы ведут на дорожку: четыре ступеньки; направо, налево — трава; ты сойди — потеряешь себя; и открыта глубокая яма; она — зарастает; глухонемою

поской тяготит; в яме — страшно; там курица... —

— Миг, комната, происшествие, город — чепыре ступеньки, мной пройденных; я взошел на них; и расширился мир мне деревней; и вместо стен мне открыты: проглядные дали...

Курица.

Вспоминаю себя я, сходящим с террасы: над шелестящими правами; колкие ошупи трав припадают к лицу; самоводный лужок ходит правами; а перелеты их лоснятся: прохожу я — в старинную яму; цветок одуванчика, сорванный, огорчает мне ротик; тяжелые зной напали; порхает невнятица листьев; бессмысленно — все; я устался —

— в курицу:

— «Здравствуй...

— «Ты...

— «Курица»...

.

А белоглазая курица клювом уставилась в стену; и — клюнула: мухи нет; желторотые шарики побежали...

Цыплята...

И я —

— вылезая из ямы: глухонемая тоска тяготит; я — себе на уме: да, я знаю,

что знаю: и — никому не скажу —
там — — как

— бегают... шарики.

И мне пусто, мне грустно... —

— склоняюсь головкой к кому-то — в колени, вперяясь в пространства; невнятные пространства —

— (озерцо изморщилось и издали синилось)... —

— личико поднимаю (а оно все горит) и протянутой ручкою переблю я Дуняшу.

— «Как там курица...

— «В яме: живет...»

Не понимают меня.

.....

Вдруг горячим приливом, как маповым жемчугом, я согрет: меня поняли; и — бархатисто тепло льется в грудь; Раису Ивановну, милую, которая меня поняла, я люблю; и склонилась ко мне своим маповым личиком; и агаповым взглядом зажгла: в моей груди тепло; поцеловала она: ничего —

— мы над ямой пройдем: еще раз — с ней вдвоем; мы идем уже; курица клохчет, бежит; уморительно убегают за нею все желтые

шарики на поненбких лапочках — в правы; и приседаю я в правы; и — вот: белоглавый грибок: сыроежка; и — вот: мне сухая лепешка (проходит здесь стадо); над ней вьется муха; смеется Раиса Ивановна:

— «Нет, не надо...»

Сухую лепешку я прону.

А Раиса Ивановна:

— «Пфуй...»

Подсыхали вокруг очень многие «пфуи»...

.

Тихо движемся в спящие чащи, в листы: за листы; там — жердисто, нелисто; схватились колючие поросли — рогорогими чащами; двигаюсь — в сонные сумерки, в него нецветные воды болота.

Вода.

Там стучат жернова: —

— и вода, зеленея,
летит стеклянеющим током; а воду
дробящие камни прояснились лбами
под нею: —

— Так же вот: —

— из меня,
от меня улетит все-все-все, что когда-то
мне было; за улетающим током
душа улетаает; а душу дробящие дали
окрепли мне берегом; безобразное обра-

зовано: это — земли; а сонные образы — дымно кипящие воды: вода, зеленая, летит стеклянеющим током; а воду дробящие камни прояснились лбами.

.....

У грустного пруда дохнуть я не смею: грустнею, немею... —

— Сребрится изливами пруд: а из него на меня смотрит малюсенький мальчик; он — в платице, с кружевом; беспокойные кудри упали на плечики: —

— я таков на портрете, еще сохранившемся где то; я — в платице, в кружеве; кружево это помню: оно — бледнокремовое; помню платице я — из пунцового шелка... —

— малюсенький мальчик, как я; все, что было, что есть и что будет — теперь между нами: излив; изольется все.

— «Эй, ты, маленький мальчик...»

А маленький мальчик запрыгал на ряби: пропал; утекло — все, что было.

Ничего и нет: ряби...

Что же это такое, что есть?

.....

Я бывало без мысли смотрю — в эту мутную глубину; и бывало без мысли смотрю —

— как из мутных глубин подтечет живородная рыбка; и — пустит пузырьки; передернулась; нет ее: ряби... Дробится и прыгает маленький мальчик на ряби: —

— Ах, рыбка его погубила: «Я» — маленький мальчик; меня ах, меня, — погубила она.

То, над чем я сижу, глубина: и она мне темна, и она мне мутна.

.

Дерево изветвится, излистится...

Мне ветвятся, мне листьяются мысли...

Что то такое я думаю: но кишит бесполовица... Какая такая — не знаю... —

— Вот он — «я»; вот он — пруд; пруд кишит головастиком, а серебрет — изливается... —

— изливается дума моя; и серебрет она предо мною; а не знаешь, что в ней.

Может быть... — головастики?

Грозы.

Вставали огромные орды под небо; и безбородые головы там порчали над липами; сереброглазые молниями заморгали; обелоглавили небо; кричали гро-

мами; капали-кидали корявые кледи с огромного кома: нам на голову.

Это, спрятавшись в облако, облако рушили в липы — типаны; и подымали над дачами первозданные космосы: —

— рухнувших городов и миров: улицы, дома, башни — кремнели над ними; и грохотали пролетки...—

— Каменистые кучи облак сшибая прескучими куполами над каменистыми кучами, восставал там Типан, весь опутанный молнбями: да, там пучился мир; да, и в бесполочь разбивались там бреды; и — толоклась полчея: —

— складывался толковый и облачный ком в мигах молний, с туманными улицами, происшествиями, деревнями, Россией, историей мира; и мировая история разгремелась над парками; и Типан, поднимая ее, точно старую быль, на нас гнался, врезался грудью в кипящие кущи; уже проходил он по парку сквозь листья; под тяжелой стопой Типана дрожала земля... —

— И я, тихий мальчик, увидев носимое — там, над нами, — бежал в темный угол; а папа бежал вслед за мною.

И — принимался нашептывать:

— «Это, видишь ли, Котенька, — гром...

— «То есть, это...

— «Скопление электричества»...

Прощупи прежних лет шевелились во мне; бесполочь прежних лет гроыхала...

.....

Помню раз. —

— обезвоздушилось все; и — душило меня; все притихло; вдруг: —

— за-

скрипели стволы; бурно хлынули главы; рванулись рои живолистных ветвей прямо в окна, треща и кидаясь суками; и — откачнулись назад; увидал там в окошке, что Мрктич Аветович пробегает из чащи с распущенным зонтиком; утка хлопала крыльями; и крикливо сухой треснул звук: опустилась в кусты многолетняя ветвь; и — повисла на белом расщепе: —

— белоло-

бое облако подошло; белолобое облако хлопнуло частым градом: нам в стекла.

.....

В этот вечер гуляли; блистали нам слякоти; все проглядные дали иссинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и — шлепало стадо на нас.

Громкорогий пастух мне понятен: зовет за собою.

.

Снова молнилась ночь.

Сверкания начинали подбрасывать ночь; глухонемая бессонница нападала, я просился к Раисе Ивановне: из постельки в постельку; и Раиса Ивановна поднялась: и босыми ногами она полусонно прошлепала — меня взять; я испуганно обнял ее; между белыми блесками падали тени; как рубашки, срывались с деревьев, зелены их в бесстыдную ясность; то пурпуровым, то фиолетовым летом бросались от края до края летучие лопасти: каменистое тело Титана воспало; и над всем, там стояло...

.

С той поры начались неизливные дни.

Купанье.

. Побежали купаться: —

— Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна: с полотенцами, в сарафанах, по полю.

Бегу и я с ними; а кругозорное небо над — полем, глядится; работники: в белотканых вспотевших рубашках туп ходят по грядам душистого сена с огромными вилами; в воздухе сыплется сено сухое, шершавое; быстрый рог длинной

вилы мелькает по воздуху; мы бежим, а мужик — обругался...

Мы дальше: —

— тропинкою — в ольхи: под гору; тихохолмные берега зашершавились мохом; сереют нам издали крышей недымной деревни; песком прожельтился откос; и цветы, молочаи, на нем... вот — и засыпалось издали, в ольхи — все ближе; и вот — хлынуло холодом; над головой все рванулось; и — ясновзорные просветы бросились на летучих листьях; и — рога́тая веточка ходит единственным листиком над живою рекою: купальня; — туда —

— я, Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна Вербова! —

— и говорят, что наружу они выплывать не хотят; восьмиклассник Щербинин с подзорной трубой залег прямо в ольхи; качается лодка; и переходные мостики — гнутся; и — рыбка пускает пузырьки; тут в сухие дни — плесенеют круги; в водоливные дни — пузыри...

.....

Купаются все. А меня посадили на лавочку. Поснимали свои сарафаны; и поснимали рубашки; и — длинноногие, белые, ходят: полощатся, мочатся; мне

отчего-то их стыдно; меня — им не стыдно...

И скрывая свой стыд, я кричу:

— «Ах, какие вы все»...

Воспоминания о Касьянове.

Воспоминания о Касьянове растворяют в себе воспоминанья о людях, там живших в то время; изумрудные кущи кипят: и туда, в эти кущи, уходят — мне люди; бегаю к пруду я, где уходят стальные отливки под липы и ивы; и прескачет в лобик сухое крыло коромысла; а однорукая статуя встала из зелени — стародавним лицом и щитом: на нас смотрит...

Под ней проповедует папе на лавочке, где яркокрасные розы, — Касьянов. Папа с ним несогласен, кричит:

— «Я бы все эти речи»...

И на него замахнулся он в споре своим дурандалом (корнистой дубиной, с которой он ходит) —

— впоследствии мама сожгла дурандал — потихоньку от папы; он в споре махал им; свою палку называл папа мой дурандалом, производя это слово от «дюрандаля» — меча: (им сражался Ро-

ланд) —

— папа целыми днями, бывало, лепает в огромных аллеях, махая своим дурандалом; это он возмущается: это все — различия убеждений; и напыкается на Мрктича Аветовича; Мрктич Аветович есть горбун в ярко-красной рубаше; Мрктич Аветович с папою несогласен; припирая к стволу его, папа мой раскричится:

— «Позвольте же...

— «Нет-с...

— «Что такое вы говорите?...

— «Да вас бы я...» —

— Мрктич Авето-

вич —

— много лет уж спустя я читал толстый том его: «Эра» —

— язвительно тыкает папу, блистая зубами под папой, огромной рукою — в живот:

— «Нет, а все-таки...»

— «Все-таки...»

.....
Мрктич Аветович часто, увидевши папу, спремительно убегает под липы; приседая в кустах, он оттуда краснеет горбами; это — разности убеждений; «они» убегают от папы — в лесные убежища; и убеждая «и х в с е х», потрясая

своим дурандалом, вспотевший мой папа за ними гоняется в кущах Касьянова.

Раиса Ивановна.

Запрысется мапрасик под ней; и босыми ногами — к окошку; дырявая ставня скрипит под напорами ветра и света; покрывая волною волос, вся какая-то мягкая, — тащит меня за подмышки; над одеяльцем нагнется своим мыльным личиком; бегаем в одних рубашенках.

Как весело!

Завиваются легкие локоны легкими кольцами над ее легким личиком; и со мною отпив молочка, выбегает со мною она — в росянистые колокольчики, к лавочке: мне оттуда кивает; и собираем букет колокольчиков; Мркпич Аветович к нам подходит: себе попросить колокольчиков; колокольчик протянет она; Мркпич Аветович рад.

Мы все прое — на лавочке: шутим; Раиса Ивановна, не отвечая на шуточки, в зонтик уставится глазками, а — кончик зонтика ходит; закушена пухлая губка, дрожащая от улыбок, когда снимает с меня, жарящего им из песочка комплету, — мурашика: эта бледная ясность лица — мне мила; и Мркпичу

Аветовичу — мила тоже; и он напевает тогда, что: —

«Из под лодки плывут рыбки, —

«Это милого улыбки» —

— а пёсинька, с холмика, изогнет свою спину и сядет на четырёх своих лапах, что-то сиясь нам сделать: Мрктич Аветович опускает глаза; и краснеет Раиса Ивановна: мне это все — любопытно.

Такой смешной пёска...

Бывало, передвигая пазы, мы сидим у жаровни; блистающий паз в пузырях; и Раиса Ивановна с ложечки мне дает желторозовых пенок; и вот восьмиклассник Щербинин пристанет:

— «И мне пеночек.»

А, бывало: на липовый листик положит она землянички; и черною шпилькой уколется в ясные ягоды: кушает ягоды:

— «Мне-бы...»

— «И мне...»

Пристает восьмиклассник Щербинин.

— «Нет вам...»

Мы любили, обнявшись, сидеть, протянув свои личики в зорьку.

Любили купаться (я еще не купался); она снимет кофточку, юбку, чулочки; и, остывая, болтает ногами; дает понять взглядом: ай, ай, будет — Бог знает что, когда с досок она прямо бросится в воду; и белоносная пена покроет.

Любили ходить по грибы; под кустами увидим, бывало, мы пугопучный березовик.

— «Мой...»

— «Нет, — мой.»

Отбиваем его друг от друга.

Я ее обирал. Даже, раз она плакала; кузовок тяжелеет: подосинники, яркие, на черных ножках, жемчужовые сыроежки, желтяки, белоглавики в нем переплели и пахли листьями.

.

Мрктич Аветович.

Мрктич Аветович, знаю, — добряк; Мрктич Аветович — весельчак; поднимает огромную руку к луне над горбом; и поет из аллеи, встав на лавочку:

«Ты, всесильный Бог любви,

«Ты услышь мои мольбы»...

И всем это нравится; и встает над Мрктичем Аветовичем красный месяц; чернеют горбы на дорожке; то — тени.

Таинственно...

Мрктич Аветович возит нас всех — на пикник, он садится на козлы — высоко, высоко над нами; качает горбами; лошадь встанет, бывало: но Мрктич Аветович ни за что не прибегнет к кнуту; а обращается к лошади:

— «Милостивая государыня, лошадь». —

— И всем это нравится.

Нас везет на пикник: нам зажарить шашлык: и прочесть под луною молитву: армянскому богу; приехали: выгружают посуду, бутылки, пироги с грибами, паштеты; расстилают скатерть на траву; накладывают, бывало, сухой и прескучий валежник; зачиркают спичками; куча покрывается дымом; и — подкидными огнями; желтокрылое пламя заширится; и ясными лапами пляшет: мама снимет шелковый фарпучек, полосатопятнистый (и желтый, и красный) и Мрктичу Аветовичу перевяжет горбы она; Мрктич Аветович выставит черную бороду, и над огромным, теперь полосатым горбом — простирает свои волосатые руки в огни и распевает молитвы армянскому богу: над вертелом; дымы вздымаются; падают в поле хвостами; шар солнца

блистает из них самоварною медью; уже любопытно зарница забежала в туче.

Мрктич Аветович в пламени там стоит; и чадит: шашлыками.

.

Смутно помнится мне: —

— уж колотится колодушка; края тихорогого месяца ясно прорезались в ветви; на ясные дали разрезались мраки; возшла колоколенка; знаю я —

— завывают собаки под дачами: у потайной ямы, в бурьяне, толкается кучер Федор с Дуняшею нашею, а колючие ежики бегают по аллеям; их пронь: станут шариками; над могильным крестом возникает полковник Пупонин; фосфорически светится он; и несется в кустах... на касьяновский парк... —

— Мрктич Аветович, обнимая меня, убеждает меня, что несколько не страшно; и говорит:

— «Вот Иванов-жучок».

Приседаю на корточки я.

Убеждения наши сошлись: мы — друзья.

Осень.

Дни летели в дожди, в желтолистные.

Залетали синицы; красногрудая пташка, тиликая, перестала метаться за мошкою

на стене белой дачи; прещали сороки; пироги с грибами пошли; у камина гляделись в огни — в смолянистые трески ветвей; отсырели углы нашей дачи; пооткрывались болезни желудка; пооткрывались болезни седалищных нервов; и любовались осенним осинником: он — краснотравный.

Порасставились досчатые ящики — с сеном: огромные банки и склянки туда опускались; из поредевших ветвей выкруглялся откуда-то — клинский вокзал: красным куполом.

.

Как случилось это — не помню, но помню последствия «случая»: мы стояли растерянно перед множеством полинялых, синих пролетов, перед множеством рваных, синих халатов, опчаянно подпоясанных красным и на нас громко лаявших из под лаковых рваных шапок:

— «Со мной, барыня...»

— «Со мной...»

— «Вот извозчик...»

И — мостовая гремела.

«Случай» этот мне помнится: и мы вернулись в Москву.

.

Удивляемся мы с Раисой Ивановной тесноте наших комнат; передо-мной

на ладони квартиры: очень тесный коридорчик и ползающий по стене таракан: очень тесная детская.

Та-ли это Москва?

Не отсюда уехали мы: мы уехали из огромного мира комнат: он рухнул.

Вспоминаем Касьяново мы. И мы слушаем музыку.

Глава пятая.

РЕНЕССАНС.

Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно.

А. Пушкин.

Из кровати.

По утрам из кровати смотрю: на
букетцы обой.

Я умею скашивать глазки (смотреть
себе в носик): и уж стены бывало, снима-
ются — прилипают мне к носику; паль-
чиком протыкаю я их: легко и воздушно
сквозь стены проходит мой пальчик;
туда бы просунуть головку: стена не-
проглядна.

Моргну: —

— перелетают все стены на
место; и там они — тверды. Действи-
тельность, обстающая мне меня, — та-
кова: отвердевает она; изощряюся в
опытах; передвигаю действительность;
пятилетие обстает меня опытом; мне

в прехлестии опытов не было; были строгие строи. Я — художник действительности: в прехлестии я художник «треченто»: копирую строи; четырехлестие — «кватроченто»; и новые опыты жизни встают; и вопрос перспективы (смещение зренья) мне жив; вспоминаю картины за нами стоящей вселенной; ксе кто-то там меня ждет; все отпуда моргает: синеющим оком —

— из желтоилового центра: под веками.

«Он» — придет и возьмет: уведет; времена на исходе.

Я каждое утро жду встречи. Вокне —

— снегомety бело и неярo летят переносными стаями: легколистая снегопись серебрет на окнах.

Тысячелетия древнего мира у меня за спиной.

И — подкрадутся: тысячелетия древнего мира — в тихий час, за спиной; как хотелось бы мне обернуться — подсмотреть: тысячелетия древнего мира; у меня за спиной — все, бывало, дрожит; и, как будто, грохочет: провал в иной мир; и миры меня ждут, — у меня за спиной; тысячелетия древнего мира под-

крались; —

— поворачиваюсь:

— вместо пролома в стене —
этажерочка (та же!) стоит себе;
и на ней — строй солдат: оловянные
гренадеры мои серебрятся мне
лицами... васильковые стены — за
ними: —

— тысячелетия древнего мира
гремят за стеной; все предметы смещаются;
и — удивляюсь я, что я — «Я»: все
вывернуто наизнанку; и — я сместился
с себя; все развилось преждевременно:
развилось — ненормально... —

— и ненормально я развит...

.....

Пятилетний, я знал уже: —

— земля — шар;

гром — скопление электричества;

американец гуляет под нами; и —
кверху ногами... —

— Мамочка, бывало,
целует; вдруг заплачет она; и — откинет
меня:

— «Он не в меня: он — в отца»...

Начинается про меня разговор; и —
разгорается спор: говорят о летаевских —
лбах, носах, подбородках, раскосо
поставленных глазках; мне позор: у

меня — летаевский лоб; —

— все Летаевы
светлонравные, благородные люди: —

— по-
зор: у меня раскосо поставлены
глазки.

Плачу я под окном — в горизонт, а горизонт — ясновзорен: на стекле, вот на той стороне, поуселись точки алмазиков: а вот на этой — плаксиво расплющился носик (разве я виноват?); за алмазиками красноречиво перелетают снежинки; и — каждая — множится: вертит, чертит спирали; и — новый алмазик: у самого носика: разве я виноват, что —

— умею показывать я цепкохвостую обезьяну в зоологическом атласе:
и — двупробку с ленивцем? Разве я виноват, что я слышу от папы:

— «Дифференциал, интеграл?»

Из снежинок мне розовеет уж дом Старикова; саночки — пронеслись; и знакомой фигуркой стоит — городской Горловасов.

Разве я виноват, что я — знаю: —

— папа
мой в переписке с Дарбу; Пуанкаре его любит; а Вейерштрассе не очень; Идеалов был в Лейпциге: с... эллиптической

функцией; очень ею доволен; живет с ней; и ходит: о ней разговаривать.

Удивляется ясноглазое небо (днем оно — ясноглазо); оно — строит мне пучи; и — образуются строи; образование — меняет мне все...

Знаю я: —

— придет Припатаенко: Припатаенко-Головаенко, — круглоусый, курносый: маловласый, обглоданный; придет Василисимов: благодарит нас за что-то; и — пальцами повертит на животике: мамочка заезжает; они — уморивши ей мух, остужают нам воду...

Папа маме на это:

— «Оставь!»

— «Василисимов, знаешь ли, умница... Василисимов, знаешь ли, он — написал диссертацию: о сходимости несходимых рядов»...

— «А что он скучноват, так ведь он и не Блещенский: это Блещенский сгорает от пьянства; Василисимов — вычисляет»...

И — уж крадутся — у меня за спиной, из пролома в стене (меня ждуть!); и повертываюсь — головастый Брабаго с великолепным Нелеповым склепным голосом спорит и... ковыряет в носу; папа с

ними уже интегрирует; и — пошли: конгруэнты; —

— все сместилось; все — пошло наизнанку: преждевременно развилось; и — ненормально ужасно; громыхают булыжники слов; а — Брабаго сидит, а — Брабаго молчит; это-то и есть — математика; папа мой — математик.

— «Он не в меня: он — в отца»!

Это кажется мне ненормальным: и — странный мир поднимается во мне — из меня: набегает во мне — на меня самого. —

— Как же так?

Кто тут «Я»? Я — не я: я — не Котик Летаев! —

— это-то вот и есть преждевременно развиваемый математик: второй математик...

Гуще снежные хлопья; и — гуще: поваляли, посыпали; настоящие, кипящие белояры; ничего не видно за стеклами; а уже — редееет, редееет; и — чисто; оборвались все снега; пооткрывались над улицей синие шири; пооткрывались за крышами светлокрылые блески; в синей шири проносятся облака-белоцветы; и уходят в стеклянной прозрачности красноперыми гребнями.

Там — возжение блесков; там — блески над блесками; я — ничего не пойму: —

— и утекаю на кухню: к Дуняше; она — молодая, красивая; жарко она принимается: обнимать, целовать — в лобик, в глазки и в губки; мне стыдно.

Разве я виноват, что мне весело в кухне? Городовой Горловасов был у нас недавно на кухне, в тулупе; и с — двусмысленной рожцей на носу; он проделал нам бесполочь: пол толок сапогами; полоки раздавались мне после: пол толок Горловасов: —

— распорговался он красными кумачами; паяцы его покупатели: —

— вон —

вон-вон: —

— он, он, он! —

— городовой Горловасов постаивает там знакомой фигуркою: из башлыка торчит его нос — на перекрестке Арбата.

.

«Молодой человек».

Утро: девять часов; а не то — половина десятого; самосыпною искрой трещит самовар.

Я — и папа.

Он едет на лекции.

Лекции — линии листиков; и по линиям листиков — лекций — летает взгляд папы; папа водит по ним большим пальцем; защелкав крахмалом сорочки, свирепо он рывкает:

— «Аа... Так-с!»

— «Так-с»...

Это — и к с и к и, и г р е к и, з е т и к и,... т а к с и к и; таксиков я встречал на бульваре.

Думал я: —

— из лекционных тетрадок «и к с и к и» прорастают ростком: зеленеющим, лепечущим листиком — из набухающей почки; деревенеют жердями; и торчат себе после... оставленным молодым человеком: при Университете, для папы: —

— папа сеет их сеточкой, при помощи карандашика, на бумаге; и — согревает дыханием; сеточка начинает расти, зеленеть... —

— и выгоняется «молодой человек», развиваемый папою: так выводятся в парниках: огурцы!...

.

«Молодой человек» — просто выросший иксик: «молодой человек» ходит к нам; и молодой человек соглашается с папою.

— «Вы, молодой человек, вот еще почитайте», — старается папа

И «молодой человек» соглашается потчас-же:

— «Я, Михаил Васильевич, уж давно собираюсь»...

Папа же его перебьет:

— «Почитайте вы о сходимости несходимого ряда»...

— «Вот-вот именно: о сходимости ряда»...

— «И о прочих рядах»...

— «И о прочих рядах»...

.

И не то наша мамочка.

— «Вот бы, Лизочек ты мой, почитал: о сходимости несходимого ряда...

— «Ну, нет: ни за что!»

.

Университет мне известен; известен оставленный там «молодой человек»; университет — папин дом; молодой человек — папин служащий, как и «педель» с медалью, Скворцов; он, бывало, все ходит с бумагой; и у него — бакенбарды; «молодой человек» — чи-

‘ном ниже; —

— папа с ним очень вежлив и добр: говорит ему «в ы» и не «ты-кает», как меня и как мамочку; папа вежлив с прислугой, а мамочка говорит ей все «ты»; и поэтому мамочка —

— проходя чрез столовую видит: «молодой человек» там сидит, перебирает неловко руками и ими, краснея, мнет шляпу, привстанет, отвесит поклон, станет вовсе малиновым; мы бросаемся с папой спасать его: тащу ему — еломанный слоник; а папа ему поднесет стакан крепкого чая; «молодой человек», все бывало, дрожащею, потной рукою, мешает в нем сахар; другою рукою держит слоника; я хочу его звать с собою — под стол: расставляю со мной кубики.

Юмор.

Меня поражает рисунок: —

— широкая, черная ваза подъята с подставки овалом; она — полуэллипсис; полукруг, купол храма, — я знаю; а полуэллипсис поражает меня; и мне хочется плакать, смеясь —

— на овале

вазы гирлянда из скачущих дяденек
клинобороденьких, желтокарих; вы-
разительно приподняв факелы, из
них двое откинулись, мечи диски;
все — с хвостиками... —

— Это — было.

Нет — было ли? —

— и не могу ото-
рваться от вазы; дяденьки в чер-
ном: они — в темноте; темнота —
коридор; желтокарие дяденьки —
все! — побегут в коридор с факела-
ми, — из стран, где я был до рожде-
ния; коридор, начинаясь оттуда, кон-
чается в комнаты; желтокарие дя-
деньки не гнали меня (это было...
когда-то); мой дяденька (все зовут
его Ерш) с клинообразной бородкой
к нам ходит с портфелем под мыш-
кой: у него там припрятан и диск
он живет — в полуэллипсисе...

...
Косяк пурпура — на стене; и — косяк
на полу; папа что-то там чертит на
листиках: побормочет, почертит, при-
встанет; и — разогнувшись, ревнет:

«Глядя на луч пурпурного заката».

Красно-крылые косяки — на стенах
красно-крылое облако — в окнах; там —

закат, на который глядят; и с которым уходят в никогда не бывшее образом; образ, память о памяти, встанет. и вот —

— Афанасий Васильевич Летаев присяжный поверенный (дядя Ерш) к нам покажется из темного перехода, выдвинув ястребиный опточенный нос, — клинобородый, язвительный, желтокарий, — в золотых очках; из Окружного Суда отобедать, и на столовых тарелочках возникают ломтики пекливанного хлеба; и я думаю: —

— Окружной Суд — окружность; окружность и шар суть гармонии; полуэллипсис — ваза...

И — падают в комнаты легкопенные темени. Дядя Ерш будет с папою долго гоняться в пурпуровых заревых косяках: от угла до угла; папа — кряжистый, невысокий, темнобородый, курносый, — очки подопрет двумя пальцами и живоглядно уставится снизу вверх на Ерша, полуприсядет; вызовет память о прошлом; и — точно хочет подпрыгнуть:

— «Ты бы, Ершик, да знаешь ли, Ершик: ты бы им, братец мой, показал»...

Думаю: дядя Ерш из портфеля повнимает теперь свои диски (гармонии сферы)...

А каренбкий дяденбка, закусивши кусок бороды, как привскочит на ципочках на черном фоне пьянино; зафыркает носом на папу:

— «Ух, ух, ух!»

— «Я, я, я...

— «Ух, да он!»

— «Да она!»

— «Ух, да я!»

Преображение памятью — чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной: —

— я жду: —

— из под желтого дядина пиджака выписнется быстро бьющий, мохнатенбкий хвостик; думаю — будет пляска; и жду — вот уж схватят подсвечники, расставивши уморительно руки, все припустятся друг за другом: подпрыгивать, как... —

— фигурки мной виданных желтокоричневых дяденек; из подсвечников вылетят пламенбки —

— и в блещущих ритмах забьет страна ритма, где пульс ритма блесков — мой собственный,

бьющий в стране танцев ритма и образующий мне проход в иной мир; существа иной жизни свободно пройдут к нам в квартиру: дяденька появился уже; и он, знаю, — юмор: все его поведение таково, как будто бы он старался из воздуха сделать «Ю», или его изваять: горельефной гирляндой; «ю-ю-ю» — ю как он, бывало, очками; если бы все начертания поседали бы из воздуха — на кусочек бумаги, то был бы рисунок —

— черной вазы, которую бы размашисто окаймляли гирляндой — клинобородные дяденьки с факелами, мечами и дисками.

.....

Я впоследствии узнаю хорошо: здание Окружного Суда... с полуэллипсисом на крыше.

Музыка.

Музыка — растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир: и — открылось мне: —

— все, везде: ничего! —

— мне и грустно, и весело; я ищу под подушкой, под диваном, под креслом; но подобия — пусты: —

— все, везде: ничего! —

— без

глаз моргало мне в душу; и комнаты — как аквариум; окна — выходы в небывшее никогда; можно из них выплывать; и — черпать гармонию бесподобного космоса; память о памяти — такова; она — сладкий ритм; она — садилась в пьянино; водилась в пьянино; и раздавалась — нам в комнаты.

.

Я однажды увидел, как старый настройщик снял черную крышку пьянино; открылись — миры молоточков; бежали; и наступали мелодию: —

— «Да-да-да!»

— «Да-да!»

— «Все — я-я!» —

— Так

этот старый настройщик — настроил: на бытии — бытие; «все печет» Гераклита соединилось с Парменидовским постоянством: в пифагорову гармонию сферы; и открылся мне путь —

— к иде-

альному миру Платона! —

— Под руладой сижу: немой мальчик; и — плачу; и пытаюсь все ручкой поймать мою свободу в «да — да»; несутся багровые окна; и

из багровых расколов блистает мне золотом:

— «Ты — был сир... Пришел — «Я!»

Впечатления.

Впечатления первых мигов мне — записи: блещущих, препещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — образовано; образования — строи. Образование меняет мне все:—

— молниеносность сечется и образуется тканью сечений, которая отдается обратно, напечатываясь на душе вырезанном иероглифом, и —

— я теперь — запись!

Но точки моих впечатлений дробятся —

— душою моею! —

— и риза мира колеблется (я потом ее не колеблю); по ней катятся звездочки законами пучинного пульса, и безболезненно гонится смысл —

— любого душевного взятия, то есть, понятие —

— метаморфозами красноречивого блеска, где точка, понятие,

множится многим смыслом и вертипы,
чертит мне звенья —

— кипящей, горячей,
летающей, сверлящей спирали: объясне-
нья — возжение блесков; понимание —
блески над блесками, образование блеска
блесками, где ритм пульса блесков —
мой собственный, бьющий в стране тан-
цев ритма и отражаемый образом, как
память о памяти.

Впечатление — воспоминание мне; вос-
поминание — музыка сферы; воспомина-
ния меня обложили; воспоминания — ра-
кушки; вспоминая, я ракушки разбиваю;
и прохожу через них в никогда не быв-
шее образом; вызывание образов прежде
бывшего — припоминание той страны, по
образу и подобию коей прежде бывшее
было; припоминание — творческая спо-
собность, мне слагающая проход в иной
мир; преображение памятью прежнего
есть собственно чтение: за прежним
стоящей, не нашей вселенной; впечатле-
ния детских лет, то есть, память, есть
чтение ритмов сферы, припоминание гар-
монии сферы; она — музыка сферы: страны,
где —

— я жил до рождения! Вспоминаю:
возникают во мне соответствия —

— и в

мимическом жесте (не в слове, не в образе) встает память о памяти, пересекая орнаменты мне в собственн-
ный жест мой в стране жизни ритмов:
там был до рождения я.

Память о памяти такова; она — ритм,
где предметность отсутствует; танцы,
мимика, жесты — растворение раковин
памяти и свободный проход в иной мир.

Воспоминания детских лет — мои тан-
цы; эти танцы — пролеты в небывшее
никогда, и тем не менее сущее; суще-
ства иных жизней теперь вмешались в
события моей жизни; и подобия бывшего
мне пустые сосуды; ими черпаю я гар-
монию бесподобного космоса.

Папины именины.

Помпул захаживал редко, являясь в
папины именины: в Михайлов день, в
ноябре.

Я впоследствии вспоминал этот день:
многорогая вешалка наполнилась шубами:
грохотала столовая, туго набитая про-
фессорами и членами всевозможнейших
обществ; поминутно звонили — входили:
седые и молодые сюртучники; то, бы-
вало, войдет полногрудая дама; с ней
плоская девочка (делая низкие книксены),

то — неславный пиджачник, то — «Лев», молодой человек, перекрахмаленный: щелкает грудью; и папа усадит: полногрудую даму, пиджачника, «перекрахмаленного щелкача» за уставленный закусками стол; то появится модница: серое тонкое платье с огромным турнюрором, в боа, в меховой шляпченке, с наперсточек; и — с огромнейшим током; приходил даже раз многобитый нахал с поздравлением папе; и был нами не принят; приходил попечитель Учебного Округа: граф Капнист; приходили тогда и иные к нам — именитые гости; кудрокрылый, седой Николай Алексеевич Умов, присылающий порт: преогромный калач; Алексей Николаевич Веселовский, блистающий голубыми глазами и важно текущий меж стульями; Матвей Михайлович Троицкий, написавший «Науку о духе»: в синем форменном фраке, с огромной звездой: улыбчивый, белоусый и попирающий руки; садился за стул; и нежно плакался голосом и замыкался в свое самодушие над куском пирога. Очень грузный и пышавший дымом Сергей Алексеевич Усов, хрипя и махая рукой, подымал бурю смеха: он подмигивал мне; я глядел все на родинки; и — однажды воскликнул:

— «А скажи-ка мне, мамочка: почему это выросла земляничка у «крестного» на лице?»...

На меня замахали руками: Сергей Алексеевич не растерялся; и — прохрипел на весь стол:

— «Это — что... Вот однажды к лицу поднесли мне младенца... А он, знаете, рот открыл, да и тянется, тянется... Чуть не схватил меня губками»...

— «Это — что»...

И Сергей Алексеевич Усов, намазав французской горчицей кусок, перевернется на стуле: проявит свое бЫспродушие перекидным разговором; и бросает им всем неизмятое мнение; он — возжаривал мнения; и пускал их волчками; и мнение начинало кружиться: и — возвращалось обратно; он его убирал; многоносое любопытство стояло, когда из дверей появлялся, круглея чистейшим жилетом — к нам Третий Филиппович Повалихинский, которого называли они «парижанином», и который был «мамин шафер»: он, бывало, меня приподнимет и мягко посадит себе на живот (я его надавлю); в это время мне почему то казалось, что прячется он, что его укрывает Москва (вся Москва!); и я думал: хорошо ли спирают там пыль

под диваном, где прячется Повалихинский (прячутся — под диваном: и все это знают!); должно быть, стирали, потому что Тертый Филиппович Повалихинский непосредственно из под дивана являлся к нам завтракать таким надушенным и чистым; похахатывал, брал меня на живот и разжевывая своими, как сливы, губами, кусок именинного пирога, увлекательно передавал впечатления о завтраке с профессорами Сорбонны и сказанной «пикуле» (пупал я: спич и пик у л и).

Вот тогда-то к нам появлялся и Помпул, в наушнике, и с какими то трубными звуками —

— «Бу-бу-бу: по штаптиштическим данным... бу»... —

— он входил: в полосатом и желтом, с двумя желтыми баками, как подобает расхаживать «англичанину», побывавшему в Лондоне и сломавшему ось пролетки (я напрасно боялся его: он был нежной души человек); появлялся он под-данным, то есть: с Анной Петровною Помпул; Христофор Христофорович был верноподанным Анны Петровны, которую называл кто-то данным: то есть, Помпулу данным; он садился за стол, переже-

выывал свой кусок пирога (с рисом, с рыбой, с вязигою) и рассказывал: —

— как

ему выывал врач: вместо дуплистого зуба — здоровый и крепкий: —

— а во

мне начинается: —

— вращение набухавшего смысла: в никуда и в ничто, которое все равно не осилить мне в водоворотном грохоте слов, темнодонных, бездонных среди плясок ножей на тарелках, в тарарыканье передвигаемых стульев —

— на-

бухание смысла, гонимого «светочами» всевозможных отраслей знаний, имена которых впоследствии выывал я напечатанными жирным шрифтом во всех повременных изданиях: —

— и проходил я в гостинную, где стояли столбы коромыслом сигарного мнения: в папиросицу, в пепелицу и в красные кресла, отделанные американским орехом, где тоже сидели все светочи, но... откушавшие свой пирог и опроставшие место; не понимаю и тут: смысл всего темен мне; но понимаю я жесты движения горластого дымогара; и уплотняя сло-

вами те жесты вне их яснящих значений, я бы выразил их приблизительно так, еслиб мог выражаться: —

— умозрение, выплетаясь, виснет словами и дымом из славного рта; и сплетается с умозрением; многозрение умозрений осядет на креслах табачною копотью, став всезрением мнений; и оплагаются в воздухе бледноречивые, стылые спразы; скучают: и, поглядев на часы, гость за гостем, приподымаясь, кряхтит, говорит:

— «Мне пора»...

И отправляется под карнизы имперского здания: —

— поддерживать грузы там.

.

Вот, бывало, Покров; вот уж замелькали снежиночки; Пелагея Семеновна Мозгова заказала себе выездное, зеленое платье; князь Носатинский не купается; в Университете готовится бунт; и Михайлов день капится: на санях из метелицы.

Жду я — Помпула: будет он говорить нам о з у б е.

.

Повалихинский, Помпул и Усов — еще мне не люди, а ошупи: космосов... Гуманизма; приоткрывают завесу они; указуют они... на зарю; оттого-то они предстают мне впервые в эпоху, когда от меня отступают куда-то: мои стародавние бреды; и начинается блистать — ренессанс...

Я впоследствии их узнаю, как людей; но впервые они вырастают из сумрака типанически иссеченными в камне на портале огромного Здания: Гуманности и Свободы; там они мне висят: кариатидами Вечности — в дочеловеческих формах; они мускулистой рукою сжимают увесистый светоч: и ударяют противников просвещения: мраморным пламенем.

Перевивы орнаментов, арабески, гирлянды и вазы, полные каменных виноградин — дары; и они предлагают их мне; я предчувствую: не оправданы на меня их надежды; уввы — отвернутся они от меня; и поэтому я —

— с опасением созерцаю: —

— кариатиды под'ездов, орнаменты грузных карнизов; и — статуи: бюст Ломоносова черен и строг; я его где-то видел.

Снова образа.

Вот подобие моей жизни с Раисой Ивановной:—

— еслиб мог я сказать, то сказал бы я так:—

— перед нею проходит настройщик, снимает рояльную крышку; блистают мирры молоточков; и разливается море руладой рояля,—

— где, как соль, растворяются желтые плитки паркета и начинают кидаться волнами о стульчик, откуда склоняюсь —

— и

вижу:—

— самую подводную глубину — с двумя докторами: доктор Пфедфер и Дорионов в образах, покрытых щетиною рыбохвостых свиней мелодически плавают там на серебряных плавниках и лысынами старательно роют подводный песочек:—

— вместо кресел — кораллы там; вместо столиков — гроты; и вместо пепельниц — перламутры; там брызжут фонтанчики: словом — аквариум:—

— там залегает в песках аксолотль, дядя Вася; под переливными диш-

кантами, на глубочайших басах, Артем Досифеевич Дорионов, там, упирая под боки кулаки, припустился резво за бриллиантовой рыбкой; и не догнавши пускает пузырьки кроворопою мордою; и — потом: он винтами подносится кверху, чтобы высунуть мокрый нос, им уставиться на меня и добродушно побрызгать алмазным фонтанчиком, перевернуться и нежиться розовеющим животом —

— и потом: —

— он низринется в темноводные заросли: залегать в этих зарослях и разгрызать слизняков... —

— Так слагались мне звуки, бывало: темнеет; и я проседаю — во мраки с кроваткой и спинкой; Раиса Ивановна издали зачитала под лампой; дремотно; в ресницах развернуты лучики: белоснежными блесками крылий; там — лебеди: — звуки: переливаются по лазури они; ничего не пойму: —

— то серебрянный старичек, в парике, в лепестистом небесном камзоле бежит по аккордам на туфлях, смеясь, и плача; и на ходу принимается кушать печеное яблоко он; мне — старинно, смешно; я его узнавал и потом.

На аккорде споткнется: и бухнет с размаху — он в мраки молчаний; и упавая, рассыплется гранями горных хрусталинок и дишкантовой фугой...

А то разразится из ночи весенняя буря; из седопенных дождей зеленеет нам молнья: —

— мне все кажется, что я — в воздухе, на распластанных крыльях; переливаюсь в лазурях (и — струнно; и — струйно); и перья, как полбцы, сияньем проходят по ним; я... заснул.

.

Это все выросло из звуков: кипело, гремело, рыдало, носилось, блистало...

.

Елка.

Еслибы всему тому — смёрзнутьсь, то ретивые ритмы бы стали ветвями; а бьющие пульсы — иглинками; там стояла бы елочка; все мелодийки из нее выросли игрушкой; из трепещущих, блещущих звуков сложились бы нити и бусы; а из кипящих, летящих аккордов — хлопущи; застрекотали бы ломкими бусами хрустали дишкантов; а басы бы надулись большими шарами из блесков;

да, мелодия — елочка, где дишканты — канитель, а объяснение звуков — возжение блесков над блесками; Дорионовы, рыбы, гоняются там за орешками; риза мира — там; и риза мира колеблется.

Если сесть в уголок и прищурить глаза, — разростается все это звучно; и препещущий, блещущий мир восстает; и гоняются красноречивые блески в яснейших спиралях; и сединится в ясностях старец; и весь он — алмазный.

Помню я: —

— самозвучные половицы скрипели; там от меня запирались: стучались; в столовую озабоченно пробежали: Раиса Ивановна, мама и папа: с пакетами; расставлялись там кресла; и думал я, что губастые рожи, арапы, уж там: учреждают «вертеп»; я не спал в эту ночь; к вечеру собирались к нам гости; дети Ветвиковы подразнили меня перед запертой дверью; явился мой папа; и распахнул быстро дверь: — в эту комнату блесков, где в сияющей ясности, из свечей и ветвей рисовались мне блага и ценности... неописуемых, непонятнейших форм; и уже заиграли кадрили; и уже откуда-то ворвались к нам губастые рожи (две маски); и сам папа мой пере-

ряженный появился за ними в еноповой шубе; и — в бумажной короне; велел взяться за руки; ходил вокруг «елки»: мы ходили за ним. После я присел в уголок: и смотрел на алмазную куколку, Рупрехта; белоглавая, все-то она там глядела из нипей — задумчивым взором: как память о памяти; мне казалось, что на миг явилась та самая Древность, в седирах; мне казалось: человекоглавое серебро — распечется; и встанет: огромный спарик, весь в алмазах; отслужит обедню; тут меня приподняли кему; и я сам оторвал от вешей мою куколку, Рупрехта.

Рупрехт.

Рождество прошло быстро.

Хлопнули все хлопушки. И орехи разгрызены; и бусы раздавлены; золотая картонная рыбка расклеилась: пополам; уцелел только Рупрехт.

Я поставлю на печку его: на меня он усядется с печки; он усядется, через кресла, на стол, на паркеты, ковры. Я поставлю под кресло его: и — глядит из под кресла. Я его уберу: его — нет; поживает в кардончке; но все ждет

его: умывальники, кресла, шкафы меж собой говорят:

— «Ушел Рупрехт»...

.
Наша квартира есть память о той стороне, где я не был; в ней — не бывшее никогда оживает; и Касьяново — в ней; на этажерке фарфоровый пастушок разговаривал с пастушкой... о Рупрехте (где-то он?); а уж Рупрехт алмазился издали: он уж их видит; он — помнит: нет, он никогда не забудет.

Будет, будет:—

— похаживать одиноко в огромнейших комнатах, вмешиваясь в события нашей жизни; он — покажется здесь; и — покажется там; и даже пройдет по Арбату, замешавшись в толпе; его видели в кондитерской Флейша; и в булочной Бартельса; может быть, это — он; а может быть, — это папа (у папы огромная шапка и шуба: у Рупрехта — тоже); может быть, никакого и не была Рупрехта... —

— Вот он, вон: одиноко стоит там на полке; и слушает слухи о... Рупрехте; и слушает он мои мысли о нем... Был ли он на Арбате? Этого не расскажет он мне: никогда не расскажет.

Миф.

Куколка затерялась моя; но я верю в нее; мне Раиса Ивановна шепчет, что бегают вечерами мой Рупрехт — по замерзшим носам: надирает носы; в пустой комнате, там, — он стоит, половицей скрипит; и недавно насыпал серебряных рыбок: в почтовые ящики.

Я прошу показать эти рыбки, настаиваю, а Раиса Ивановна меня уверяет, что он бегают в вислоухой еноповой шубе и в шапке из котика; и я забываю про рыбок.

И — начинаем мы говорить, что... —

— за

Арбатом кончается все (знаю я, что не так это; и всетаки — верится); «Безбардис» — последнее торговое учреждение; санки, конки, прохожие, как только вылетят за Арбатскую площадь — у Безбардиса стараются повернуть; и вернуться обратно, чтобы им не низвергнуться... —

— Под пропутьарами, за Безбардисом, —

— на кубовом небе! —

— все свечечки, свечечки, свечечки; и горят себе, точно звезды: это свечки огромной, разрос-

шейся елки, которую —

— елкою! —

— мировой

старик, Рупрехт, точно звездными небесами, подпирает... Арбат.

.....

Помнится: —

— раз идем по Арбату; навстречу нам — папа; пугаясь в полах огромной еноповой шубы с полуизорванным рукавом — набегает на нас он, толкая локтями прохожих, — в огромнейшем меховом колпаке, из под которого выставляется веточка ледорогих сосулек — на огромном серебрянном усе; над усом торчит красный нос; на носу — два очка; и это все — добродушно ушло в шерсти меха (и точно не папа, а... Рупрехт); глядит — и не видит; вместо елочки прижимает к груди очень туго набитый портфель; за папой вдогонку — с углов, переулков, с Арбата, — отставая, перегоняя и полозьями напыкаясь на тумбы, несутся извозчики; хлопают рукавицами и кричат:

— «Михаил Васильевич»...

— «Барин»...

— «Со мною»...

— «Не дорого»...

— «На Моховую на улицу»...

— «Довезу вас скорехонько»...

Мы — кидаемся к папе.

Какое там!

Разве папа нас видит? У него запотели очки: он стремительно пробегает, толкая прохожих и нас — полуизорванным рукавом своей шубы: со сворой извозчиков.

И вечереет Арбат.

По вечерам — пихолуден Арбат (не такой, как теперь), быстпроцветные огонечки моргают; синеют все стылые ясности, оплотневая в туманность; туманность — чернеет.

.....

Папа бежал к «Безбардису».

И вот думаю: —

— что он, и свора извозчиков будут скоро низвергнуты: в никуда — за «Безбардисом»; и снова появится папа — из-за «Безбардиса», с кардонками; из кардонок нам выложит всем: явства, сласти, подарки; совсем папа Рупрехт; и оба они... как попы.

.....

Музыка научила, играя, выращивать сказки; и выросли все сказки — еловою порослью: угол кресла — скала; и на него я вскарабкаюсь; я на нем — великан; и мне зеркало — водопад.

«Рупрехты»³ —

— это вот... как —

— жизнь

во мне звука; но жизнь звука во мне — не моя: принадлежит она миру звука, который во мне опускается: мной играю, как бы... клавишем; переживши тот звук, пережил я его не в себе, а в существе страны звука, в которую был приподнят — не вовсе, а до открытой возможности (двери!) подсмотреть звуковую квартиру со всеми домашними принадлежностями комнат звука; я их не успел рассмотреть; и по образу и подобию копии комнат в моем впечатлении тотчас-же сфантазировал: образ; и этот образ себе начинаю рассказывать; и рассказик мой — сказочка; мои сказочки, собственно говоря, суть научные упражнения в описании и наблюдении впечатлений, которые опмируют у взрослых; впечатления эти живут и во взрослых; но живут за порогом обычного кругозора сознания; сознавание взрослого занято кругом иных впечатлений: в них втянуто; потрясение иногда, отрывая сознание от обычных предметов, погружает его в круг предметов бывших впечатлений; и — возвращается детство.

Только этот возврат — по иному.

.

Игрушки — аккорды; на аккордах мы ходим; аккордами входим: в тайные комнаты смысла.

Мы с Раисой Ивановной безбоязненно отворяли все двери; и — проходили по всем звуко-комнатам; двери нам открывались; и выходили нам «Рупрехты».

Прохождение комнат — игра: мы, играя, — вернемся.

Не папин, не мамин.

Университетские «люди», бывало, со страхом косились на мамочку; со страхом ходила к ней в спальню по вечерам Афросинья кухарка: со счетною книгою; мамочка примется: уличать Афросинью, а папочка примется: выручать Афросинью, а Афросинья-кухарка молчит; и на меня покосится (будут ужасы в кухне!): папочка, — крадется с толстым томиком к дверной щелке: подслушивать мамочкины недовольства кухаркой, чтобы потом, в нужный миг, повыскакивать из-за двери — спасать Афросинью:

— «Знаешь ли, Лизочек, — оставь ее!»

А пока же скрипит половицею у приоткрытой он двери; виден: — мамочке

мне и Афросинье-кухарке: просунутый папин нос; и на нем — два очка.

Мама хмурится; Афросинья-кухарка смелеет...

Дрожу я: —

— будет, будет нам крик; Афросинья, — она на весь дом пропишит нам котлом; и разговоры подымутся — с тетей Дотей и бабушкой...

— «Михаил Васильевич: чудак, эгоист!»

— «Не в свои дела сует нос»...

— «Мне он портит прислугу»...

Через два часа после другие уже разговоры:

— «Михаил Васильевич чудак: идеалист!»

— «Светлая, гуманная личность»...

— «Простяк он, ребенок»...

Самое страшное начинается: мамочка, разгасяся, меня оттолкнет от себя; и со слезами в глазах обращается к бабушке:

— «Тоже с Котом вот: преждевременно развивает ребенка; воспитание ребенка, — это дело мое: знаю я, как воспитывать... Накупает все английских книжек — о воспитании ребенка... Ерунда одна... Нет, подумайте: пятилетнему показывать буквы... Больше-

лобый ребенок... Мало мне математики: вырастет мне на голову тут второй математик»...

— «Ах, да что ты»...

— «Да что вы»...

Я же тут, уличенный в провинности, начинаю дрожать; одиночество нападает: все кажется хрупким.

.

Опасения, как бы я не стал «вторым математиком» — одолевают меня; мне ужасно, что я — большелобый: поменьше бы лобик мне; хорошо еще, что мне локоны закрывают глаза; их откинуть — все кончено: страшная, ненормальная выпуклость, — лоб — выдается упорно; и лоб — расширяется: — у меня громадная голова; она — шар.

Воспоминание о «жаре» и «шаре» (я «шарился» в «жаре») опять нападает; сиротливо мое бытие: в беспредельности я — один, окруженный печами, отдушиной, трубами, из которых за мною полезут: меня взять от мамочки; там живут — «математики»: папа водится — с очень странной компанией: преждевременно развитой; угрожает она развиваться и меня: преждевременно; и мне кажется: —

— «преждевременное разви-

тие» уж со мною случилось, когда-то; я откуда-то «развивался»; и «преждевременно» выгнался: осиливать пустоту и упадаль (нападает «старуха» пам) в наших комнатах; снова свился я с трудом; неужели же мне развиться и — выгнаться вон... уже я проседаю во тьму.

Но это все — вечерами...

.

А утром: —

— с папой легко мне и просто; перед уходом на «лекции» обнимает меня; согревая мне ручки отверстием бородастого-усамого рта, он мне шепчет:

— «Копинька, повторяй-ка, голубчик, за мною: Отче наш, Иже еси на небесех»...

И я повторяю:

— «Отче наш, иже еси»...

— «На небесех»...

— «Небесех»...

Не проснулась бы мамочка!

Я люблю очень папочку; а вот только: он — учит; а грех мне учиться (это знаю от мамочки я)... Как же так? Кто же прав?... С мамочкою мне легко: хохотать, кувыркаться; с папочкой мне легко: затвердить «Отче наш»; с мамоч-

кою оба боимся мы: придут «математики»; с папочкою выручаем мы «молодых людей» и прислугу.

Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки. Как мне быть: не грешить?

Одному мне зажить: я — не папин, не мамин; а жить — одиноко...

Милая Раиса Ивановна!

.

Мы стоим в хрупком круге: почти на тарелке; она врезана в синерод: и синерод полушаром встает там, за окнами...

Вот попадаем мы незащищенно носиться —

— «Нет мочи!» —

— И сорвется все: потолки, полы, стены; папа, мама — провалятся; хрупкий круг разобьется, и провалится тоже, как хрупкий круг солнца, за окнами: в тучи; а тучи, в багровых расколах, проходят за окнами; из-за багровых расколов блистает тот самый (а кто, ты — не знаешь).

Уж и темно.

Уж и темно: нетопыринными крыльями пронесутся там тени, когда —

перерезая пары, свисты, шепоты, шипы на кухне, полнокровный огонь,

перебежит из печи через воздух на стены; и самокрылые светлые косяки задрожат на стенах...

Слушаю: полчея за стеною, на кухне; Афросинья-кухарка там рубит комлеты; а то снимет железную вейку с печи и забьет кочергою она; и — действия Афросиньи-кухарки мне не кажутся ясными; все они — подозрительны; подозрительна ее лихая рука; и — бородавка под носом, подозрителен вспученный подбородок, как... зоб индюка; подозрительно жалобен муж Афросиньи-кухарки, костлявый Петрович, рукою слагающий мне на печи пени зайчика; говорит: Афросинья давно загрызает Петровича; и кидается на него с острым ножиком: выгнется ее белокаленная голова с жующим ртом и очень злыми глазами; и ухвативши за спину Петровича, она спашит портки; и вырезает ножом из Петровича... ростбифы (оттого-то на нем мяса нет: только кожа да кости), а —

— ломпи мягкого мяса малиновеют на столике; и кровосая кошечка все косится...

Помню раз: поднималась на кухне возня; и выбегала Дуняша из кухни поведать нам с плачем, что Афросинья Петровича душит; чувствовалось: ненормаль-

ность развития действий; и — преждевременность их.

Думал я:

— «Вот оно наступило: преждевременное развитие».

Осознавалось: Петровича уже нет, а есть ломти мяса, малиновеющего под поченым ножиком Афросиньи — в шумах и шипах, в парах.

Мы бежим в проходной коридор; мы стоим в коридоре; самозвучная половица скрипит; переменяясь, ползут наши тени; тени свесились из углов; тени свесились с потолков; и чернорогие женщины, возникая из воздуха, — угрожают из воздуха.

.....

Кружевные дни на ночи: повторяют себя — на ночи.

— «Ту-ту-ту!»

— «Ту-ту!»

— «Ту-ту-ту!» —

—белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку.

Красноярая свора огней пробежит по печам: окоптит трубы нам.

Мамины рассказы.

Мамочка, в пеньюаре, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башма-

чек и дразня им болоночку: —

— («ту-ту-ту — ту-ту-ту — ту-ту-ту» — белоглазая Альмочка лапочкой чешет терстку под мамочкой), —

— как разблещется глазками, принимаясь рассказывать нам: что она была девочкой, «звездочкой»; и что дедушка требовал, чтобы мамочкин лобик открыт был; маме было пять лет; а пете Допе — два года; и водился за нею грешок: не просилась она из постельки; дядя Вася тогда становился бездельником; «Перепрытковские» — были куклы; и ездили в гости к «Бробековым»; «Перепрытковские» сохранились у мамочки, а «Бробековых» я изорвал; когда дедушка умер, то бабушка обеднела, а мамочку вывезли: на предводительский бал; и — появились «хвосты»: то — вздыхатели мамочки; где она, там они... двадцать пять женихов получили отказ; предлагали они свои руки и сердце; получили они: длинный нос.

Мамочка вышла за папочку: из уважения к папочке; ее приданое — куклы: «Перепрытковские» сохранились еще; а «Бробековых» я изорвал...

.

Мамочка переложит, бывало, ножки с пуфа на креслице; и продолжая рассказы, она вся откинется к длинной спинке качалки: —

— Мои дяди и тети все слушались мамочку; зажигались огни в белом зале с колоннами; дедушка — белый, гордый и полный, в чистейшем жилете, держа руки за-спину — с очень толстой сигарой в зубах выходил из теней: любоваться на игры.

— «Детки: деточки-деточки... Ангелы ангелы, ангелы... Ну-ка, «звездочка»: ма-тушка... Ха-ха-ха: хорошо»...

И проходил за колонны...

Иногда затевалась война: и преобильно дирала капризница-мамочка дядю Васю-бездельника за вихор; и тогда из колонн выходил на них дедушка:

— «Не хорошо: нет-нет-нет... Не хорошо: нет-нет-нет»...

Дедушка не кричал никогда; он покачивал головою.

И дом погружался в молчание: бабушка запиралась на ключ; мамочка, тетя Дотя и дядя рыдали; прабабушка (мамина бабушка) начинала шептаться с бабушкой; в белоколонной комнате дедушка проносил гордый лоб: от колонны к колонне; и без всякого гнева шептал бритым ликом:

— «Нет-нет: так нелъзя»...

Приходили в дом гости: Белоголовый и Иноземцев (топ, которого — капли); приходил и Плевако — талантливый молодой человек; дедушка говаривал им:

— «Покажу-ка вам «звездочку»...

Вызывались дети — петь хором:

Нелюдимо наше море:
День и ночь шумит оно.
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Если кто-нибудь из гостей начинал петь «романсы», его останавливал дедушка, безо всякого гнева:

— «Нелъзя, знаете — в нашем доме: оставьте... Дети тут у меня. Они — чистые ангелы»...

Пелось:

«Белеет парус одинокий
«В тумане моря голубом»...

По вечерам, задрав волосы детям, подводили их к дедушке: подставляли ему лобики; всякий лобик крестя, приговаривал он:

— «Дай-ка я тебя: в лобик и в глазки»...

Занимался коммерцией он; временами он ездил в Ирбит, приезжая оттуда с мехами; никто из домашних не знал, что

он делает упрямом в амбаре; с кем попоргуется он; и — кому продает; видывали его, проезжающим по Остоженке, на своей серой лошади, в меховой большой шапке; и в шубе с бобрами.

— »Это едет вот — Пазухов; он — советник коммерции... Очень почтенная личность»...

Дедушка мало знался с гостями; запирался с двумя докторами: Белоголовым и Иноземцевым; над молодым человеком, Плевако, подшучивал он; и — заходил он к прабабушке перед сном со свечью в руке: рассказывать каламбур и зачем-то у ней взять бумажку...

.

Так бывало нам мамочка, разблеставшись глазами, часами заводит рассказы, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башмачек; я, бывало, заслушаюсь; белоглядые окна — заслушались тоже; белоглазая Альмочка лапчочкой чешет шерстку под мамочкой.

Тихоня.

С папочкой говорить мне нельзя: а то мамочка скажет: — «Да он преждевременно развит»...

Ну-ка — буду-ка я кувыркатся! И ну-ка: на мамочку поползу, как боло-

ночка, прямо к плюшевой туфельке — ее нюхать; и приложив ручку к спинке, лукаво виляю я маленьким хвостиком.

Я — себе на уме...

Мамочка рассмеется и скажет:

— «Ребенок»...

И похлопает меня, как собачку: и подкину ножками... Весело!

Если бы я ее спросил, что такое «оно», что вспает в уголке и что такое там «мыслится», — то она бы сказала:

— «Нет, он — математик».

И поднялся бы у нас разговор о большом моем лбе.

Этот «лоб» закрывали мне: локоны мне мешали смотреть; и мой лобик был потный; в платице одевали меня; да, я знал: если мне наденут штанишки — все кончено: разовьюсь преждевременно.

Кувыркался я очень любил: и любил я подумат; вот только — подумат нельзя:

— «Ни-ни-ни»...

Кувыркался я для себя: и еще больше. . для мамочки.

.

Мне не нравились разговоры: о воспитанье ребенка; пересекались на мне тут две линии (линия папы и мамы): пересечение линий есть точка; математи-

ческой точкою становился от этого я: я — немел; все — сжималось; и — уходило в невнятицу; говорить — не умел и придумывал, что бы такое сказать; и оттого-то я скрыл свои взгляды... до очень позднего возраста; оттого-то и в гимназии я прослыл «дурачком»; для домашних же был я «Копенком», — хорошеньким мальчиком... в платьице, становящимся на карачки: повилять им всем хвостиком.

Но стояло в душе моей:

— «Ты — не папин, не — мамин»...

— «Ты — мой!»...

«Он» за мною придет.

.

Светлоногий день идет в ночь: чернорогая ночь забодает его.

Глава шестая.

ГНОСТИК.

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.

Вл. Соловьев.

Древо познания.

Вот Раиса Ивановна —

— милая! —

— из кур-

гузых лоскутиков делает шерстяной чер-
вячек: красный, красный такой!..

— «Was ist das? »

— «Das ist die Jakke»...

Глядя искоса на меня, наклонилась она
к шерстяным красным тряпкам: смеется
и клонит свой локон в мой локон.

«Яккэ», «Яккэ» — какое то: шерстя-
ное, змеёвое; ничего не пойму — хо-
рошо!..

.

Папа раз к нам пришел; наклонился над
лобиком толстенным томиком в пере-

плёте; прочел мне из томика — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле: —

— и я думаю: —

— об

Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле; и мне ясно уже: шерстяная змея моя — «Яккэ»: —

— бывало, сшивала Раиса Ивановна красненький шерстяной червячок из кургузых лоскутиков.

.....

Сплю: —

— из кургузых и узких лоскутиков строится ночью какой то особенный, свой, нарастающий рост: рост лоскутов разроится багровыми краснотами, ходит огромными строями очень громких алмазиков и азиатскими змеями, лживыми мигами; близятся — пухнуть в огромных рассказах —

— о старом Адаме, о рае, об Еве, о древе, земле! —

— обо мне: о добре и о зле! —

— Начинаю мечтать; принимаюсь кричать; —

— и Раиса Ивановна встанет унять меня, взять меня спать: на по-

стелъку к себе; я не сплю; я — молчу:
чуть дышу; мне —

— и мило и древне, и
жарко, и грозно, и грустно; —

— ужасно
сжимая мне грудь, ужасные сжатия в
грудку опускаются чувствами: пухнуть...
И все начинает опять мне кричать в
очень громких рассказах; сквозь ми-
лое, древнее, крестное древо проре-
жется: —

— ясно: —

— уже не Раиса Ивановна
дышет со мною тут рядом, а пламя тут
пышет —

— «оно!» —

— ужасаюсь и чувствую:
произрождение, набуханье «его» — в ни-
куда и ничто, которое все равно не
осилить; и —

— что это?

.

«Оно» — не было мною; но было мне,
как... во мне, хоть — «во вне»: —

— Почему
«это?..» Где? Не «оно» ли уж Ко-
птик Летаев? «Где я»? Как же так?
И почему это так, что у «него»
не «я» — «я»? —

— «Ты не ты, потому

что рядом с тобою — какое то: жаровое такое»...

— «Не Раиса Ивановна — грозовое, глухое «оно»...

— «Вот «оно» — набухает: растет стародавнюю жизнь»...

— «Тело!» —

— Так бы я уплотнил словом странные строи из мыслей моих в том глотателе, лезущем, суежном, водоворотнопустом: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна.

— «Was ist das?»

Схватывала, прижимала к себе; но объятия начинали казаться какими то стародавними пламенами; ураганное состояние сознания в напряжении ощущений моих начинало носиться во мне крыло-рогими стаями...

— «Jakke!...»

.

«Это» — думал я, — рост; «это» — думал я — древо познания, о котором мне читывал папа: познания —

— о добре и о зле, о змее, о земле, об Адаме, о рае, об Ангеле...

По ночам поднималось во мне это древо: змея обвивала его.

Красноречивый миг.

Я помню все: тот миг красноречивый,

Которым вы свою любовь открыли...—

— Свер-

шилось: я вспомнил!

.

Это было под вечер; и мама была у Гутхейля: вернулась с романсом; меня брали к Дадарченкам; и вернулся я с маленьким, крашеным, деревянно пахнущим клоуном; и — та же обложка романа; в красноречивых разводах: клоун же был — полосатопятнистый: и желтый, и красный.

Он без слов на меня посмотрел; и без слов мне сказал:

— «Вспомни же!»

Мама пела: —

— Я помню все: тот миг
, красноречивый...

Красноречивый мой клоунчик; и — певущий мамочкин голос — все вспыхнуло мне ярко-красным: мне милым, мне древним; и что-то затеплилось в груди, сжимая мне грудь: —

— Он пришел — ко мне:

Меня взять, меня взять —

— и увести за

собой:

— «Не забудь!..»

— «И возьми!..»

— «В свою красную комнату!..»

Красноречие течет к нам оплуда!

.

Которым вы свою любовь от-
крыли...

Клоуна подарила мне Соня Дадарченко—
девочка с длинными волосами и какая то
вся, как мое пунцовое платице, о кото-
рое мне приятно тереться, которое
хочется мять, —

— а пунцовый наш абажур
с двумя глазами совы и совиным клювом
красноречиво посмапривает: грустным,
ласковым, древним:

— «Не — папин, не — мамин...»

— «Я — Сонин...»

Он же, клоунчик, все зовет:

— «За ним — все, все, все!»

И — ослепительна будущность: моей
любви... — я не знаю к чему: ни к чему,
ни к кому: —

— Любовь к Любви!

. — «Я помню все: тот миг красноречивый,

«Которым вы свою любовь открыли.

.

Желтокрасные пятна заката — в черноватеньких облачках: догорели —
— послед-
ние!

— «Мой леопардовый клоунчик!..»

.....

И я — мыслю без мысли: —

— Раиса Иванова, милая, там иголкою делает: «красненький шерстяной червячок:»

— «Was ist das?»

— «Das ist die Jakke.»

Как же мог я забыть: *Яккэ* — красненький шерстяной червячок в красной комнате клоуна: —

— когда время окончится, будет... комната клоуна; там он делает *Яккэ* — всем, всем!..

Он — за мною, ко мне, — меня взять: в свою красную комнату!

Я прижался к нему: и он пах деревянным; уже убегаю: решение роковое —
— я

завтра упрям: к нему!.. —

— А пунцовый наш абажур с двумя глазами совы красноречиво посматривает: я — не папин, не — мамин; я — даже, не Сонин; я — клоунов.

Пунцовые отблески гонятся:

- «Я помню все: тот миг красноречивый,
«Которым вы свою любовь открыли.

.

Засыпаю: и клоунчик — желтокрасный! —
до ужаса узнанным ликом без слов:

- «О, вспомни!..»
— «Ведь это — я!..»
— «Старая старина!..»

Соня Дадарченко.

Соня Дадарченко —

— в желтых локонах,
с бледным бантом: какая то вся — «теп-
лота», которую подавали нам в церкви, —
в серебряной чашке —

— ее бы побольше
хлебнуть:

не дают! —

— в желтых локонах: из
под них удивляются два фиалковых
глаза на мир; опустились безмолвно в
меня, прожигая меня, бархатея и лас-
тясь —

— и милым, и древним! —

— и мне из-
нутри вылагая грудь — чашу, в которой
колышется сердце — фиалковой синью и
ширью, чтоб малым алмазиком звездочка

прокатилась туда бы... Сияющим ощущением тепла; —

— и все это вносится взглядами Сони Дадарченко, девочки в желтых локонах, с бледным бантом. Подходит ко мне:

— «Ты — не папин!..

— «Не — мамин!..»

— «И ты — не Раисин Ивановнин»,

— «Мой!»

И хочет вести за собою — туда, куда капится звездочка малым алмазиком.

Убегаю за ней.

.

Но она — от меня: прямо в дверь.

Деревянная дверь в долгих складках портверы свисает серебристыми струями; а струи слетают блистающим током: туда —

— улетает она!

Оттуда — просунулась Сонечка: лобиком, локоном, глазками, бантиком, в блесках и шелестах —

— милая!

Все, что было, что есть и что будет: теперь между нами: но локоны, лобик и бантик пропали; и нет ничего: рябь.

И — утекло все, что было.

Ничего и не было: струи.

Что же это такое, что — есть?

Соня Дадарченко — есть: ничего больше нет.

.....

Она водилась меж кресел: садилась в кресло; и раздавалось оттуда, из складок портьеры:

— «Ау!»

И я, тихий мальчик, сидел перед нею, — в малиновом кресле, с поджатыми ножками: все, что случится, что есть и что было опять возникало меж нами; Сонечка не посмотрит, бывало, своими алмазными глазками; у нее закушена губка, дрожащая от улыбок, когда она, отпалкивая меня от себя своей ручкой мне что-то такое лепечет —

— про Диму Илёва, которого у Дадарченко видел я и которого не влюбил:

— «Не папы-мамина я...»

— «Не твоя я.»

— «Я — Димина...»

А сама улыбается ясеньким личиком. Это ясное личико — мило.

Целую ее.

.....

Пятна заката в окне догорают: последние!

Сумерки.

Сонечку я не вижу, но — знаю, что там, из угла два фиалковых глаза безмолвно проходят в меня, бархатея и ластясь мне синью и ширью, —

— куда —

— самоцветная звездочка... скатится!..

Косяк пурпура — на стене; косяк пурпура — на полу: там — закат, на который глядят...

Закаты.

В эту пору впервые мне и открылись закаты...

Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна и врезана лишь одним своим краем —

— туда! —

— где из багровых расколов блистает он золотом, —

— нет нам руки из-за багровых расколов: и руки, желтея, мрачнеют и переходят во тьму: —

— все — отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая та-

релка; она — плоска, холодна; и мы — в
хрупком круге —

— почти на тарелке! —

— А

кто-то стоит и глядится из полосатых
закатов, чтобы уйти в стародавнюю,
черную, эонную Древность; и до ужаса
узнанным ликом —

— говорит мне без

слов:

— «Вспомни же!..»

— «Ведь это — я: старая старина...»

.

Уже ширятся огромные очи ночи; и
восстает она, ночь: и — страшное, ро-
ковое решение, —

— улыбаяся, —

— томной тай-

ной приходит: —

— и мне кануть с ним: от-
блестать в черной Древности: —

— «За

ним!» —

— «Все!» —

— «Туда!..»

.

Но световые пятна заката уже поту-
хают: желтокрасною леопардовой шку-
рою...

Приход... от Гутхейля.

Я не верил ночам: —
— красная свора
огней, мне казалось, неслась по печам:
накалять печи нам... —

— Там, бывало, зиял
раскаленный оскал... —

— Я кричал над рас-
калом:

— «Спасите!..»

— «Нет мочи!..»

.

Красноречивые миги случались, —
— и
если - бы уплотнить мне при помощи слов
эти миги! —

— Когда понимания, мысли,
понятия начинали кричать очень громко
и пухнуть в огромных рассказах; а вещи
немели, струясь и расплавленно утекая,
чтоб Вечность, как вещь, возникала в ле-
пучем безвещии: и — объясняла себя —

— очень
тихим звонком к нам во входную
дверь —

— (ни глазами, ни ухом его не уло-
вит никто, потому что спадают очками
глаза; уши, тоже, — не уши: науш-

ники) —

— звонок, знаю я, — от Гутхейля;
Дуняша бежит отпирать: кто-то —
желтый и красный — древнее, как
прежде, в дверях перед дрожащей Дуня-
шею; —

— подает картонную карточку с
красным крапом; на другой стороне —
туз червей: —

— это сердце мое; пламе-
неет оно; решено, суждено: пронзено! —

— а
картонная карточка капает красным
крапом нам на-пол.

Клоун кланяется: —

— капарисовой, дере-
вянной рукою откроет он деревянные
двери столовой: пологою щеткой окрасит
бесстенные стены; красноречивые
миги в спокойных покоях растут на
обоях кровавыми крапами, точно древ-
нее дерево: —

— красноречивые карусели ки-
пят; кипятками калят: колесят
краснолетом; и он — пролетел в
в коридор: бьет в упор: —

— фыркнул
фейерверк азиатскими змеями: тётками.
Тётки тикают!

— «Ай!»

- «Помогите!»
- «Спасите меня».
- «Унесите от пёток!» —

— Так бы я

закричал, если-б мог; так кричать я не мог: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна из белеющих простынь: и — чиркала спичкой; и вспыхивал яркий мир; темнота исходила багрово расколами.

.

Утро.

Детская. Девять: не двигаюсь... Десять!

Довольно.

Там, бывало, Раиса Ивановна заволнится сквозной рубашёнкой; белеет босою ногою; покрадется с черным чулком и с фланелевым лифчиком:

— «Кофе готово!»

Упираюсь коленом в колено ее.

Она — милая, мягкая: мну ее; —

— будто

мягкое платье мое, с крупным кремовым кружевом, о которое так приятно тереться и которое так приятно трепать, мять и рвать —

— ее

стисну: повисну на ней; и — затихну.

.

Рукомойники плещут, полощатся; мы-
ются руки — до локтя; намылены — ли-
чики, лобик: до локонов; все — яснее.

И ясно.

Припоминаю сегодняшний сон, то-есть,
красную комнату клоуна: в красной ком-
нате клоуна древняя змея, Яккэ, —
ждала.

Может быть; еще ждет.

Жутко и чутко: жужжат рукомой-
ники; отжужжали: иду коридором —
туда: может быть она — там.

.

Но, бывало, войду — погляжу: безвре-
менное временеет вещами.

Столовая — мерзленеет: стеним оп-
ложением, почно надводными льдами: —

— на

легких спиралях, с обой, онемели давно:
лепестки белых лилий легчайшим изли-
вом; кружевные гардины, как веки, ти-
шайше нависли, как иней; смотрю: —

— и

окнами, как глазами, без слов отвечаю
мне стены; и — бледноглазая ясность:
покроет покоем.

.

У Дадарченка была ёлка: —

— Христофор

Христофорович Помпул, влезая на стул,

начинал очень громко кричать, отцепляя хлопушки, бросая их детям; Николай Васильевич Склифасовский, чернобородый, веселый, сгибаясь под ветви, ловил те хлопушки; свечи таяли, застываясь и расплавленно утекая в безвещие; и безвещие трепетало огромнейшим световым ореолом вкругелочки, объясняя себя очень громким звонком —

— мы уж знали: то — ряженный; фыркал бенгальский огонь; в комнату вбегал клоун: и желтый, и красный, но... в масочке.

Тамара.

Полиевкт Андреич Дадарченко раз с Еленой Кирилловной, Сониной мамой — читали: какое-то такое... свое.

Не пойму: хорошо!

Понимаю одно я — «Тамара».

И — Тамара сидит; и — Тамара молчит: перед окнами; в окнах — стылое небо: дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— в звездолучие ширясь падает из огромного синерода, настоя из блещущих звезд, становясь —

— двулучием: —

— переме-

щаются два луча вокруг диска;
диск — ширился; и — лебединые перья
свои протянул он к Тамаре, лаская
Тамару сияющим ощущением тепла;
описывал дуги над нею, качался над
нею в темнеющем воздухе:—

— и — Тама-
ра сидит; и — Тамара молчит: перед окна-
ми; в окнах стылкое небо дрожит, а какое-
то в ней «свое» — запекает:

«Я тот, которому внимала
«Ты в полуночной тишине»...

Полиевкт же Андреевич, Сонин папа,
окончил тут чтение, приподымая на нас
толстый нос, ущемленный пенсне.

Полиевкт Андреевич, из-за книги про-
яснясь, ко мне наклонялся подчас вели-
каньим лицом с преогромною лысиной:

— «Тоже слушает!..»

— «Нервный мальчик какой...»

И принимался меня он подкидывать на
огромных, тяжёлых ладонях; и напевал
громким басом:

— «Ша-ша...»

— «Антрашà!..»

— «Ша-ша-ша!»

А когда опускал меня на руки он, то
смотрел я на два бирюзеющих Сонины
глаза; Сонечка, клонясь из качалки, меня

целовала; но я —

— простирая над Сонечкой руку, — я пел:

«Я тот, которому внимала
«Ты в полуночной тишине...»

Быстротечное небо кипело, дрожало,
дышало, переливаясь звездочкой.

Клоун Клёся.

Поликсена Борисовна Блещенская появлялась в бьющихся, вьющихся лентах: черноглазая, с черной мушкой на щёчках; прядали пышные перья: белело боа; точно небо на ней, стрекозящая сетка стекляруса вся кипела, дрожала, дышала, переливаясь блесками.

Поликсена Борисовна, обнимая мне мамочку, сопровождала слова многим смыслом, передо мною гонимых значений.

Я вникал в те значения: —

— являлась не наша вселенная, где и я был когда-то: как знать — до рождения? Слушая речи Блещенской, закрываю глаза —

— встают комнаты Блещенских: это — комнаты Космоса, где клокочут лучи миллионами светлых

пылиночек: где —

— Валериан Валерианович, черноусый, в мундире со шпагой, встает из-за кресла перед ярким камином — с бокалом шампанского... —

— Валериан Валерианович, поднимая бокал высоко, запевает:

«Ах сколько надежда дорогих...»

Выпивает бокал; разбивает бокал. Длинный же Клёся, который не Клёся, — а — Костя («Клёся» — прозвище Кости) — маленький, юркий и пестрый подхватит уже:

«Сколько счастья!»

.

Эти речи о «Клёсе», о «Клёське», о «Клёсиньке», без которого Блещенские не могли обходиться, который пришел к ним зажить, им устраивать сферу света —

— за сферою — сферу! —

— кружить эти сферы: все речи о «Клёсиньке» сопровождали мне воспоминания маминой жизни у Блещенских: —

— где за круглым

столом подают «крем-брюле» в виде формочки с выступцами, где за круглым столом сидят дяди и тети перед зажженными канделябрами: —

— мне казалось: —

— гости

те — Азаринов, Миловзорилов, Глянценроде, Гринев — быстро выскочат из-за кушанья и схватив канделябры вдруг пустятся в пляску они, угощаемые под арку, раскрытую Клёсей, — туда —

— где их всех поджидает драгун: «дракон» Даков — в розовордяных рейтузах, с женою, цыганкою, в бархатном платье: все — Клёся устроил, смеется, с гитарой в руке:

— «Сколько счастья!» . . .

— «Надежда дорогих»... —

— хохоча, подхватывает Валериан Валерианович; и в его прытко прыщущим сипром кропит уже дама — цыганка.

.

Эта жизнь не есть наша: а — Блещенских; прытко прыщется шипром и блеском, разбрызганным Клёсей вокруг, за который ему Валериан Валерианович платит: проценты...

Что такое проценты?

Не знаю...

Вероятно, — горючее вещество; керосин, антрацит, или... уголь... Валериан Валерианович посылает лакея — за угольным, тяжелейшим кулем; куль приносится... Клёсе; и — жжет его Клёся, превращая горючее вещество в дым и блеск. Этот Клёся — искусник: кудесник, чудесник! Вечно бегают по-дому, поклоняясь блеску и треску; и — кланаясь куклою; клоун — он.

Клоун Клёся есть кукла; он — куплен: уступлен; он — в кардонку, скривленный, уложится ночью: на беленких стружечках!

Встает же с зарею.

Он завел себе бубен: повесил на стенку себе; этот бубен есть — «гонг»: гонг — гудит.

Существо иной жизни — Огнев.

Клоун Клёся есть кукла не нашего мира: колдун!

Он — заведует освещением.

У него есть волшебный фонарь: из него пропускает струею на стены цветные свои перспективы... с цыганами, с тройками, — даже: с известнейшим

тенором оперетки, Огневым, поражая
им — всех: —

— особенно Поликсену Бори-
совну!..

Сотворенный клоуном Клёсей Огнев,
появляется в окнах одной фотопластинки
в виде демона, поражая Москву (всю
Москву!): —

— это все завел Клёся: —

— жизнь
капится им колесом на кипящих, огне-
вых спиралях; и Валериан Валериа-
нович именно оттого и сгорает, что
Поликсена Борисовна — в свете: в ма-
зурочном носится пульсе — летающим,
блистающим колесом, но: —

— пульс этот
Клёсин: —

— он знает, что знает: двусмы-
сленно улыбаясь, капит карету словесных
значений — под арку: —

— в театр! —

— где
Огнев! И закрываясь в карете боа —

— на-
падающим на людей! —

— Поликсена Бори-
совна внемлет вещаниям жизни, под-
сказанным Клёсею.

Смыслы жизни.

Валериан Валерианович естъ полено, об'ятое пламенем; он рассыпался головешками; головешки алеют, мутнеют: чернеют, сереют — их нет! Фу — развеятся!

Много поленьев.

Сегодня сгорело одно; разгорится другое на завтра.

Твердое основание жизни расплавлено Клёсею: многообразием кажимых значений: —

— а карета все катится — катится — катится на четырех колесах: в оперетку! И закрываясь боа, как змеей, в ней, в карете, сидит Поликсена Борисовна: с черной мушкою, в перьях.

.....

Огнёв: —

— выпарачивая свое черное око со сцены, косился давно в бенуар: Поликсена Борисовна — там; загорелась румянцами от Клёсиных об'яснений двусмыслицы; понимания здесь — блески глаз.

.....

Так бы я уплотнил смыслы слов, передо мною встававших в то время, когда —

— Поликсена Борисовна появлялась блистательно в бьющихся, вьющихся

лентах, белея боа, как змеей, обнимала
нам мамочку и уводила с собою в
карьеру: —

— казалось: —

— что карета по-
мчится в театр (то есть, в то, чего
не было, что тем не менее существует):
в суть иной формы жизни; карета уже
улетает; за ней — ряд огней: убегающих
дней: —

— в рой теней!

.

Клоун Клёся хоронится там, — в туман-
ных огнях: набегающих днях; клоун Клёся
погонится на чернорых конях.

Нелады.

Когда Серафима Гавриловна переехала
в Гавриков переулок, то нам начали
назревать нелады; нелады назревали
давно; по углам, по стенам: —

— все по
шерохи, шопоты: Серафимы Гавриловны
с пётей Домею:

— «То же вот: эти нежности»...

— «Отнимают ребенка от матери!..»

— «Воображают, что — их!» —

— что-то
петино-домино возникает; и — вот:

— «Неестественны нежности эти: развитие это!..»

— «Наш Кот: не — их!»

— «Произвели бы на свет его сами».

— «А тоже вот!»

— «Воображают, что — их».

— «Затесались в дом посторонние личности!» —

— что-то петино-домино возникает; и видно из окон, как черные галки летают над прутьями.

Мамочка тут заплачет; и — скажет:

— «Мой Кот: сюда!»

А Раиса Ивановна — в слёзы.

И уже скрипит половица: у приоткрытой двери; и нам виден уже: папин нос; и на нем — два очка; и он смотрит оттуда.

— «Знаете ли, Серафима Гавриловна, да и вы, Евдокия Егоровна, — не хорошо восстанавливать мать на воспитательницу, так сказать»... —

— и Серафима Гавриловна уезжает от нас, в свой коричневый особняк: смутно сыплются смыслы:

— «Мой — Кот!»

— «Кот — сюда!»

Пуще прежнего примется плакать Раиса Ивановна; шерохи, шопоты пуще

прежнего примутся; пуще прежнего плачу в окно — за окно: в ясноглавое облако.

— «Ай, ай, ай»...

— «Мой Лизочек: напрасно ты это, Лизочек».

Папа мой повздыхает; и вот — убегает обратно: уткнувшись нос в очки в свои листики и в корешки пыльных книжек; и — там горестно шепчется.

— «Дифференциал, интеграл!» —

— тах —

тах — тах! —

— барабанил он по столу пальцами.

Или же: —

— он в распахнутом, пыльном халате бьет пыльной тряпкой по толстенным томикам; или же: —

— он без

толку и проку забродит, отбарабанивая по углам, по стенам; и — махая линейкой; очень-очень нам грустно: Раисе Ивановне, мне.

Очень-очень нам грустно!

Нам болоночка, Альмочка все-то тявкает в спины; она — загрызает щенят; Серафима Гавриловна, Афросинья — вот то же: грызутся.

— «Что—

—то—

—те—

—пи—

—до—

—пи—

—но!» —

падают капельки в рукомойнике.

Грустно!

Мы сидим: голоса Раисы Ивановны мне не слышно; сидим: никакого события нет; да и нет — ничего; те же будни; перемагаются в лепете капелек время; Раиса Ивановна, милая — с перемученным, мертвеннобледным лицом тут сидит; а — дозирующий лик тети Доти из зеркала подымается; по краям серых стен повалили на нас бестолковые толки: Афросинья рубит коплеты.

Ужас что!

Произошло ужас что: долго мамочка плакала; папа наш, закрипев на весь дом, громко крался к ней в комнату — разговаривать: наклоняясь к мамочке бородатым-усатым лицом, на свой выпуклый лоб приподнявши очки, приговаривал он, и поглаживал мамину руку огромной ладонью:

— «Лизочек, друг мой: я всегда говорил, — пустота жизни Блещенских не

была наполнена, мой Лизок, никаким содержанием».

— «Не говорите: ужасно!»

И мамочка, закусив губку зубками, заходила по комнатам, шелестя своим креповым трэном; за ней ходил папа: с линейкой в руке; приговаривал он:

— «Я всегда говорил».

Слушал я с замиранием сердца: я понял: —

— вот что: —

— Клоун Клёся давно уговаривал Поликсену Борисовну дать свиданье Огневу:

— «Ах нет, ни за что» — отвечала ему Поликсена Борисовна; но согласилась она, не снимая ропонды, боа и перчаток заехать к Огневу; Валериан Валерианович это знал: поджидал у под'езда ее: хохотал; Клоун Клёся — был с ним: хохотал Клоун Клёся.

Неправда!

Валериан Валерианович убежал в тот же день догорать: в Ремешки, то есть там, куда то, — за Пензу.

.

«Сколько надежда дорогих!»

«Сколько счастья!»

.

В комнатах Блещенских, по словам моей мамочки, потушили огни; там живет только Клёска. Из Трубниковского переулкa нам виден уже особняк: в темных окнах опущены шторы; эти темные окна недавно еще были светлыми окнами; эти темные комнаты были: комнаты Космоса; ныне комнаты Космоса — темнота, пустота, о которой сказал с раздражением папочка:

— «Пустота жизни Блещенских, мой Лизок, не была наполнена никаким содержанием».

Содержание это — мое; я — наполнил им все.

Смыслы слов обманули; и таимые комнаты Космоса оказались темными переходами —

— комнат, комнат и комнат, —

— В

которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но кажется креслами в сероватых, суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; там, отсюда —

— гремит гулкий шаг; клоун Клёся там водится: он похаживает,

погромыхивает; и — кричит нам от-туда:

— «Ах, ах!»

— «Сколько счастья?»

И меряет счастье — аршинами; если чтонибудь вспыхнет там, — клоун Клёся потушит; —

— чувствую невозможность так жить; не прорастают понятия смыслом: клоун Клёся мне все потушил — навсегда; и мой космос —

— страна, где я был до рождения! —

— мне стоит серым, каменным домом с колоннами и пустоглазыми окнами в глубине Трубниковского переулка. Раз с Раисой Ивановной проходили мы там; шла фигурка — с крыльца: в переулок; длинный нос она пряпала в свой барашковый воротник, нахлобучив на лоб свой колпак из барашка: то был клоун Клёся.

Нелады — все еще.

Тетя Дотя и бабушка толочли все еще толчею; смыслы слов смутно сыпались; мамочка в кремовом кружеве тут ходила; бирюза глазами на нас; а Раиса Ивановна — поникала все ниже и ниже у окон: поплакать.

Бывало вот: —

— легкие локоны льются;
поплачет, поплачет она; напомина-
нием, как весной, надо мной, нежно
никнет она; и вот — снежно: —

— ле-
дянеет морозом алмазная лилия; уж и
солнце садится; и лилия прогорает: лег-
чайшими переливами; и лилия, алым
кристаллом блистая, погаснет.

Темно.

И уже скрипит половица у приоткрытой
у двери: папин шаг; папа наш, заскрипев
половицею, громко крадется в комнату:
утешать Раису Ивановну и меня от
назойливых шопотов Серафимы Гаври-
ловны — мамочке: будто бы меня отни-
мает от мамочки наша Раиса Ивановна;
зажимает папочка ручку в большие ла-
дони: посмотри, —

— и из усамого-борода-
того рта надувает тепло под рукавчик;
он — шепчет про небо: под небом все
сгладится.

Эдакий он неловкий — зачем он скрипит
половицею?

Он напортит нам все!

Нас наверно подслушают; и — Раиса
Ивановна будет плакать опять.

.

Ночь: все — пусто; огни потолками проходят: застыли они, кружевая; и — комнаты, как ковши: зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши, — полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листьях лапчатой пальмы: пугаясь темного шопота.

Знаю я, что —

— Раиса Ивановна плачет в кроватке: прячется матрасик под ней; и я — к ней из кроватки: поплакать вдвоем.

Боа.

Папа снова пришел; наклонился над лобиком толстенным помиком; и прочёл: —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней земле, о добре и о зле: обо мне: —

— мне **бы** надо трудиться, учиться, молиться, чтобы мочь зарабатывать хлеб наш насущный: и денно, и ночью.

— «Хлеб наш насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наши, якоже и мы...»

.

Воспоминание о потерянном рае гнет; и я — ходил в Рая.

Где он?

Был под веками он: прищущим пламенем разверзалося древнее древо ветвями из молнии, огненностью задевая меня; световая смоковница силами крепла; глаз оттуда смотрел, раздвигаясь, лепестясь мне цветком; голубой цветок цвел; древо жизни мое покрывалось цветами; золотое яблоко зрело; и вот: облетело оно; как и старый Адам, — изгнан я; изгнана Поликсена Борисовна из Трубниковского переулкa; я боюсь, что Раиса Ивановна будет изгнана тоже; мне надо: и денно, и ночью молюсь: —

— трудиться,
учиться! —

— чтобы мочь зарабатывать хлеб.

— «Даждь нам днесь.»

Поликсене Борисовне, знать не даром белело боа; боа — змей; да, оно, — обвивается вокруг древа из блесков; оно водится в старых косматых лесах; и зовется ужасно: «*Constrictor*»...; там, в косматых лесах, состоящих из блесков, — боа извивается.

— «Избави нас от лукавого!»

Поликсена Борисовна не сняла при Огневе ропонды, боа и перчаток; и все ж была изгнана; что же было бы ей, коль ропонду сняла бы она?

Раз я видел Дуняшу: она — раздевалась; смотрел на Дуняшу, какая такая Дуняша — без платья: она — длинноногая.

Дуняша же вдруг рассмеялась; и мне пригрозила:

— «Ни-ни!»

Я расплакался: стало мне стыдно.

.

Как же так?

А Раиса Ивановна каждый вечер снимает с себя свое платье; и — нижнюю юбку: при мне! Снимает чулочки: стоит в рубашёночке; даже: берет меня спать.

— «Ай, ай, ай!»

— «Что ей будет за это?»

В ожидании катастрофы я жил: световая смоковница силами огненно крепла и фейерверк молний — под веками: зрели ветви; и голубой цветок зрел; но змея там таилась.

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды; мы — Раиса Ивановна, я — были изгнаны; я — из светлых миров; а она — на Арбат: за Арбат.

Воспоминания.

Небывалая грусть охватила меня; —

— с

ней, с Раисой Ивановной, было связано все, что есть; и — предметы, события,

комнаты мне менялись мгновенно от ее о них мнений: —

— круглота, деревянная голова, мне, бывало, стрекочет со стен очень строгими стрелками и блистает язвительным циферблатным оскалом; но Раиса Ивановна —

— милая! —

— мягким агаповым взглядом посмотрит; и — скажет: —

— «Часы!» —

— Круглота, деревянная голова, не спрашит.

Где Раиса Ивановна?

Затерялась, исчезла она; знаю я, что прошла —

— мимо стен, коридоров, передней, по лестнице, в переулки и улицы; из метелицы — в вьюгу; а вьюга бушует; прошли — снегометы. —

— «Туда!» —

— «За

ней!» —

— «Все!» —

.

Я ищу мою милую; втихомолку прошусь с мамой в город, в Пасаж: там она!

Серафима Гавриловна, бабушка мне грозит: ее прячут — далеко; Серафима

Гавриловна... загрызает щеняток, а бабушка — лысая.

Мама берет меня в город: мы на саночках пролетаем; и — в саночки; переулки и улицы пролетают домами; Раисы Ивановны нет; в этом розовом доме, на Кисловке, может быть, она прячется; этот розовый дом я люблю; пролетел этот розовый дом; пролетела Никитская; вот — Столешников переулок; Пассаж —

— за-
жигается газ; в окнах — лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: там она!

И — бегу прямо в дверь: открываю —
— ка-
кая то дама стоит; и — бордового цвета материя льется на-руки ей.

Но она — не она: ее — нет!

Дни текли.

Вспоминаю утекшие дни: дни — не дни, а — алмазные праздники; дни теперь — только будни: —

— дни текли вереницами в тени, которые свесились с пополков, от углов, сопрягаясь в огромное многообразие, которое есть теперь: не таимая пустота; и она мне

темна; и она мне грустна! —

— уж и гости по Блещенских давно расхватали подсвечники и уморительно припустились бежать — прямо в стены; и продолжая бесшумную скачку они тeneвыми роями лепят в коридор: там метаться огромнейшим многорожием; пролетели они:—

— пролетели огни вереницами — в дни; дни — текли; и — безглазо моргали мне в душу; ищу — под подушкой, под диваном, под креслом: Раису Ивановну! —

— Но подобия пусты: все сказки рассказаны. Звуки — остались.

.

Звуками говорила со мною она; и — садилась в пьянино; водилась в пьянино; и — раздавалась нам в комнаты.

.

Ходим с бабушкой мы: на Пречистенский Бульвар — погулять; не Арбатом, как прежде, а — Сивцевым Вражком; выходим —

— какая то дама уж ходит: одна — по бульвару; там, там она — издали... Сядет тихо на лавочку; закрывая муфтою личико на меня там посмотрит; значительно посви-

лает улыбки; срываюсь с лавочки;—

—я

хочу к ней бежать, потому что
это — она; моя милая! —

— За дрожа-
щую ручку меня моя бабушка: хватъ!

— «Ни-ни-ни!»

Я — попался... —

— Какая то дама —

— мед-

ленно уж уходит туда, в крылоногие
ветерки; убегаю за ней: ее — нет; кры-
лоногие ветерки набежали; безрукая
шуба щетинится комом меха: в снега;
и — хлопает по воздуху крыльями.

.

Сиропливо бредем мы домой — не Ар-
батом, как прежде, а — Сивцевым Враж-
ком; расколото небо, багрово мрачнеет
оно; переходит во тьму.

Чернорogie ночи мои, чернорogie дни!

.

По вечерам мне никто не читает — о
милой моей королевне; о королевне я
думаю; и лучики лампы расширились мне
в белоснежные блески развернутых
крылий; и голос, забытый и древний —

— как

прежде! —

— поет:

Я плакал во сне...
Мне снилось: меня ты забыла...
Проснулся... И долго, и горько
Я плакал потом...

.
Умирает во мне жизнь какого то звука:
не меняет значений, не гонит значений;
объяснение — не возжение блесков уже,
потому что комнаты Блещенских Клё-
сей потушены, а объяснение папино, что
эта жизнь есть пустая, мне — мрак;
объяснение это сдувает все блески; пони-
мание мне —

— превращение клоуна Клёси в
фигурочку пустых комнат; получает
проценты она; и за векселем вексель
она пред'являет, грозя Поликсене Бори-
совне подметными письмами.

Все я сиживал, мальчик в мапроске, в
штанишках —

— (это все мне сшили неда-
вно: штанишки!.. Все кончено! Мате-
матики близко!)—

—прислушиваясь, как
похаживал, погромыхивал Клёся: там —
за стенкой; бабушка там, бывало, сидит,
копошится: не понятна она; мне спра-
шна. И вот — думаю: —

— бабушка... это...
это... какое то: то — да не то...

коричневато сутулое; и — шершаво
жующее ртом: —

— «Эй!

— «Ты!

— «Бабушка». —

— Но

очкастая бабушка мне грозитя:

— «Ни-пи!»

— «А то Клёся придет...

— «А то Клёся возьмет»...

А уж Клёся — там, близко: я лезу под
стол: да, я знаю, что знаю; и — никому
не скажу: —

— как она жуёт ртом; и как
смотрит она очень злыми глазами:
я знаю, что бабушка... это... это...
старуха: —

— «Возьмите!»

— «Спасите!»

— «Поймите!..»

Между тем.

Между тем: —

— был же мир жизни Бле-
щенских, где гусар Миловзорилов в мали-
новом ментике гремел ясной шпорой и
где красногрудый гвардеец Гринев гордо
выпятил грудь, где раскинувши в воздухе
фалды фрака двубакый Азаринов завивал

легкий вальс в белом блеске колонн, где на веющих вальсах носился и я в белом блеске: —

— обман это все: —

— потому, что

Азаринов, Миловзорилов и Гринев припустились бежать друг за другом, тенея, вливаясь в стены, сливаясь в огромное многообразие мне безглазо моргающих теней и поджидая меня в коридоре: устраивать скачки бесшумных своих косяков вокруг меня: —

— тени свесятся с потолков, мне протянутся от углов: и —

— уродливым роем проходят по комнатам ..

.

Я себя вспоминаю вторым математиком, отвергающим ранние смыслы мои и не могущим еще мне составить вне этих отверженных смыслов — единого смысла, которым живет математик: мой папа. Он меня обещает учить: он дарит мне букварик: —

— букварик — не шарик: —

— ка-
пается шарик; букварик откроешь — без-
звучно пурпурится буква: наука... —

— без
звука!

Блистающая, но... «опасная» личность.

Я не знаю, когда это было: —

— и было

ли? —

— помню тонкий, но громкий звонок: —

— к нам вошел «духовник» —

— о д в и-

хании, духовенстве, духовности, духе я слышал: «духовник», это — дух, у Престола под'емлющий руки, а после — ходящий по улице в черной шляпе с полями и с длинными волосами: —

— вошел «духовник»

обвисающий волосом: волоса, опустясь на глаза, фосфорически ясные блеском, упали на плечи под круглую шляпой с полями; гремел он калошами (громь — действия духов); и высекся отблеск во мне —

— о добре и о зле! —

— упо-

добляемый блеску солнца, упавшего очень громко на нас; и во мне родилось ощущение себя мыслящих мыслей, мятущихся крылорогими стаями: —

— ожидания припо-

дымались во мне! —

— лебединые перья кос-

нулись меня: мне сияющим ощущением тепла, которое подавали нам в церкви — в серебрянной чашечке...

«Он» стоял перед мамою; чернокосмая борода, чернокосмая голова и до ужаса узнанный лик осветили сознание мне, вылезая из крвильи огромной крвлатки; как двулучием, встряхивал крвльями; прошел он в гостинную; надломился, сел в кресло; качался крвлатою головою в темнеющем воздухе.

И казалось: —

— приподымется, снимется с кресла, качаясь в темнеющем воздухе; подхвативши меня, он со мною помчится сквозь окна: —

— зажжемся за окнами: твисячесветием в твисячелетиях времени, осыпаясь песней без слов которую в старине он певал: —

— неввыразимости, небывалости состояния лежания его головы в волосах, падающих на глаза и на плечи из сумерок и крвловидно порхающих вразговоре напали своим многим смыслом. —

— Хотелось, —

— чтоб мамочка окропила его опононаком «Пино», или шипром: многий првщущий смысл првпт-

ко прыщущим шипром!.. —

— Крылоро-
гими спаями рой себя мысливших мы-
слей носился по комнате...

Он исчез как то вдруг.

Владимир Соловьев.

Рассуждали у нас о каком то Влади-
мире Соловьеве — прохожем: —

— без проку
и толку он ходит: его принимают за
чорта!..

— «Блестящая, знаешь ли, личность!»

— «Опаснейший человек!» —

— говорилось
у нас.

Казалось: —

— Владимира Соловьева я ви-
дел: и есть он — тот самый (а
кто — ты не знаешь); и тем самым
взглядом глядит (а каким — ты не
знаешь): незабываемым никогда!

.

Выражение «опаснейший человек» вызы-
вало во мне представление об опасностях,
сопряженных со странствием по домо-
вым коридорам —

— в которыеходишь что-
бы идти, все идти, все идти, пока —

— не

будешь подхвачен «опаснейшим» Владимиром Соловьевым, шагающим к дальним целям; и — ожидающим в коридоре — попутчиков: к дальним целям; это странствие напоминало впоследствии мне: —

— странствие по храмовым коридорам ведомого египтянина в сопровождении космогологического духа с жезлом —

— до тайной комнаты блеска, откуда показывается сама Древность в седирах и пышные руки разводит свои из Золотого Горба, чтобы —

— вместе с Владимиром Соловьевым, склониться уже у завесы, как полные тайны фигурки на деревянном шкапу, что склоняются темнородными пятнами перепиленных суков из деревянных волокон, — как бы из-за складок; —

— Древность склонится там под Золотым под Горбом; а Соловьев под крылаткою; Соловьев там протянет свои необъятные руки; разведет там ладонями —

— образы посвященных переживались мною впоследствии — так! —

— Соловьев, знаю я, станет тут: ослепительно блистающей личностью; и он

бросится сквозь завесу —

— пролет в небеса! —

— на развернутых крыльях крылатки: —

— блистания этого Владимира Соловьева там, в дѣлях, крылаткой и ликом напомнит двулучие: с ясным диском в середине.

.....

Я был у Дадарченков: —

— с девочкой, Сонечкой, мы сидели вдвоем: в теновом уголку; было мило и древне; посмотрели мы с Сонечкой на гостей; тут пришел — это т с а м ы й: до ужаса узнанным ликом смотрел; и — без слов говорил.

.....

Невыразимое чувство: —

— я его впоследствии узнавал, неоткрытым в своей остроте, но мне глухо звучащим под образами и событиями жизни — в произведениях искусства, в грохоте городов, между двух под'ездных дверей; более всего — на ребре хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце Египта зловеще отпусковало в подпирамидной пыли; и — плавали золотокарие сумерки.

Закаты.

Удивляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых расколах, крылые косяки на стенах: пятна пурпура, тая, проходят; со стен — круглоша —

— деревянная голова! —

— огрызнется багрово осколом; миллионом багровых пылинок пересыпаются лучевые столбы; облачко — ясноглаво; и — пламенным ободом ополчинилось в небо оно; все — уставились в рубинные окна: моргают в закаты.

Иногда за окнами — дым: мороз! Яснолапые облака обвисают тогда черноватыми дымами; и падая в дым, блистает оттуда диск солнца краснеющей, самоварною медью; высоко-высоко-высоко — проясняются краснороги над крышами; то —

— закат, на который глядят...

.

Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены; все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна; и — врезана одним своим краем туда: —

— где —

— из

багровых расколов до ужаса узанным
диском огромное солнце к нам тянет
огромные руки; и руки —

— мрачней, жел-
теют; и — переходят во тьму.

Духи.

Бабушка — все то шепчет о духах; по-
минаннице —

— лиловая книжечка! —

— все, бы-
вало, с ней рядом!

И — думаю: —

— о дыхании, духовен-
стве, духовности, духовниках и
о духах; духовник, это — дух, у пре-
стола под'емлющий руки; напоминает
он солнце с лучами — с двумя конусами
своих парчевых рукавов; световыми кры-
лами он бьет, как громами; и облачится
в глаголы, как... в светлы: —

— Иоанникия,
Митрополита Коломенского и Москов-
ского видел я!..

.....

Представление о духовных благах и
ценностях очень ярко во мне — неопише-
мых, непонятнейших: в неопишемых, в

непонятнейших состояньях сознания переживаю я духов по образу и подобию ладанных клубов, взлетающих —

— из под-

кинутой чашечки!

Золотые, духовные люди к нам ходят... из Церкви; а в Церкви — кадят: —

— «Благослови, владыко, кадило» —

— помню я этот возглас!

Кадило... моя голова, когда начинаю раздумывать я обо всем о духовном.

Как бы это мне выразить?

.

Закрываю глаза: догоняю думами духов; представляются: —

— трепеты, блески под веками; ощущаются: трепеты детского тела; в трепетах прорастает — глава; прорастают руки и грудь мне правой, тихо зыблемой ветром; трава зацветает цветами, пестрейшие образования цвета-света — маячат, летят, улетают; отхлынуло все мне во мне; в теневое темное море растаяла пена из блесков.

Тогда... —

— Что тогда?

Не умею сказать.

Кадило.

Невыразимости, небывалости лежания
сознания в голове, неизреченные речи
духа —

— сказал бы я —

— были: неизреченным
его проростанием в мое детское тело:
проростанием впечатлений в рои ощу-
щений; в сознании упала преграда меня
духом и «я»; наполнялось сознание жизнью
его, как протянутой в пальцы перчатки
рукою; сознание выворачивалось — из меня
самого: и — распускалось цветочною ча-
шею — надо мною самим (голубой цветок
цвел); дух слетал в эту чашу: —

— в это

время чувствовал я: —

— давление костей
череп: сжималась моя голова; ощущались
мне не поверхности мозга —

— (обычно мы
мыслим поверхностью мозга), —

— а центры;
ощущения моей головы мне являлись как
бы: прощупывали мозговых оболочек в
вещества жизни мозга; все вливалось
мне — внутрь: опливалось мне в сердце;
внутри себя внутрь себя отходило мне
все; ощущалась моя голова мне на уровне

носа; вот она мне — орех на моем языке;
я глотаю орех; ощущение переходит мне
в горло: сжимается горло; все, что
выше — истаяло: мозг, его оболочки,
кость черепа, волосы ощущают себя не
собой, а изливами пляшущих, себя
мыслящих мыслей в громадине безголо-
вых пустот, улетающих на спиралях
своих —

— крѣпкорогими стаями!

Холоднело, легчало пространство бы-
лой головы; раскрываясь в спиралях раз-
вернутых листьев и веточек: —

— спираль-
ное расположение листьев расте-
ний теперь вызывает во мне впе-
чатления крепнущей мысли, расту-
щей спиралями, где закон повторения
следует — через три, через пять,
через шесть: —

— цветок розы построен
законами пентаграммы; и гексаграмма
есть лилия.

Мне казалось: —

— ничего внутри: все во
мне — все во вне: проросло, изли-
лось — существует, танцует и кру-
жится; «я» — «не-я»: все, что было
мне мною когда то, — теперь —
— без-

головое, проседает во мрак: голова провалилась; в ее месте есть спранная сфера биений вокруг единого центра.

.

Многоочитый, но обращенный в себя круголет переживал себя: —

— «внутри!»

Но это «внутри» было — «вне»: «вне» сидевшего тела; еслибы: —

— это «внутри»

мне вообразить, сфера вливых излетов —

— во внутри! —

— мне напом-

нила-б: сферу бушующих перьев мне кроющих сферу горящего лика под нами, ко мне низлетевшего множеством прыщущих крылий: я —

— с ду-

хом: я — в духе!

.

Сидит безголовое тело; сложило оно мертвеневшие ручки на креслице; сидит себе — так себе, вне себя; и — само по себе: —

— вот оно: Кот Летаев.

Где «я»? И — как так? —

— И почему это

так, что у него: «не я» — «я»?

Не было бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи: одна лишь безглавица; и — крыловидно порхала она, точно прыщущий из сияющей чашечки дым: —

— «благослови, владыко, ка-
дило!»

Еще — вот.

Еще вот: —

— я садился на креслице: чув-
ствовать в креслице: —

— отливало все в
сердце: набухало во мне тепленевшее
сердце; в руках зажигались пожары:
ветрами; они выбивали из рук: вылетали
из рук мне, как... руки; и эти мне «руки
из рук» изливались под лобик, как... в
пару перчаток: —

— сказал бы я ныне: —

— мои
полушария мозга стремительно пла-
вились: и перьями блещущих кры-
лий, разбив черепные покровы, они
принимались дрожать: процветать;
и мощною прорезью крылий пере-
живалось содержание вне-мыслен-
ных ощущений моих: себя волящих

чувств: —

— переживались: —

— птицею,

припадающей к безголовому телу с просунутой длинной шеею —

— горлышком! —

— в

сердце: птица думала сердцем моим; надувало его лучевым излиянием солнца, пролитого в руки; в месте отверженной головы бились крылья; и — воили взмахами: неподвижное пельце являло мне чашу: мысль — «голубку»; вылетала-ль, влетала-ль голубка — не знаю; казалось: —

— многообразие положений сознания относительно себя самого; воображалось: летающим многокружием; многокружие потом размыкалось; оно становилось двулучием с ясным диском в середине; двулучие билось двукрылием; а диск улетал на двулучии: от меня — надо мной; он описывал дуги: летал; перелеты его с головы на постельку, на шкафчик, на стены меня занимали; качался крылами в темнеющем воздухе; и шумно снимался; в сияющих перьях бросался — за мною, ко мне и... в меня: снять мне «Я» и лепет с ним чрез форточку в бесконечность: —

— тысячелетием в тысячелетиях времени!

.

Котик Летаев, оставленный нами, сидел, проседая во тьму своим креслицем; может быть видел он: белоснежные блески ресниц —

— свет из глаза! —

— и может быть: лебединые перья по нем проходили сияющим ощущением тепла: сквозь него самого.

Комната прояснеет, бывало; он знает — лепит существо иной жизни; порхает, трепещет, с ним играет.

«Мы» же — «мы!» —

— тысячесветием в тысячелетиях времени мы неслись; появлялся Наставник и неся за нами: стародавними пурпурами; и, ты, ты, ты, ты нерожденная королева моя — была с нами; обнимал тебя я, — в моих снах — до рождения: родилась ты потом; долго-долго плутали по жизни, но встретились после: узнали друг друга. —

— Я плакал во сне...

Мне снилось: меня ты забыла.

Проснулся... а слезы все льются

И я не могу их унять.

После встретил тебя: ныне снова — далеко, далеко моя королева.

— Простираюсь к тебе... И — к Наставнику:

— «Вспомните!»

.....
Если бы в этих мигах моих мне возшло
полноумие будущих дней и осветило бы
то тело, и если бы — тело умело бы
«видеть»: —

— увидело бы: наше небо
с землею, Москвою, Арбатом,
квартирой и Котиком, прони-
цаемым крыльями невероятной
вселенной: вселенная: —

— птицею спу-
скалась в него; перед собой она ви-
дела — нет не Котика, а пустую, глухую
дыру —

— темя Котика! —

— в которую —

— воп-
воп-воп: точно в гроб, оно ринется!

Все лежання сознания под черепом —
странно-ужасны.

.....
Котик — маленький гробик!

Двулучие.

Как бы ни было: —

— духа видывал я:
он —

— сияние; двулучие от него отле-

тает; два луча бегут вокруг диска;
сольются, нагонят друг-друга; дух тогда,
как звезда; из нее излетает, как вы-
стрел, огромные лезвия лучевые: мне в
сердце; дух — меч.

.

И он мне грудь пронзил лучем
И сердце трепетное вынул,
И угол, пылающий огнем,
Во грудь отверстую вогнул.

.

А то, раздвоясь, закачается дугами
крылий; и тихо распустится точно древо
цветами, — своими лучами; и нет его:
отдал себя он лучам; а лучи, —

— фосфо-
реют, мутнея во мраке, двумя лопа-
стями, как... лилии; знаю я, отчего
ангел... с лилией.

Лилии возникали во мне; и лилии ли из
меня вырастали, в меня ли вростали —
не знаю; казалось: я иногда в лепестках;
лепестки ясно светятся, облекают со-
бой; я — в одежде из света.

Я духовную ризу носил: облекался в
одежду из света; воображение облекало
в духовность меня; и был в блеске я;
знаю я: —

— я — сгустился из блеска; меня
выстрелил ангел: я — луч, раздвоенный

в излучину; ангел себя опдал мне: он во мне; бесконечные годы излучина фосфорически омутневала во мраке двумя полукружьями крылий; и медленно обростали они костяными наростами... черепа: —

— так два полукружия мозга, быть может, сгущенные крылья; еслибы развернулись они, — разорвался б мне мозг; он — духовная пряжа; он — чехол; дух тянулся к нему; облакался в него; начинали вздрагивать думы: и Котик Летаев сидел, как...

...Тамара!...

.

И — «Тамара» сидит. И — «Тамара» молчит.

.

Про меня говорили одни:

— Вот «талантливый мальчик»...

— «Он — развит...»

Другие уже говорили:

— «Он — глуп...»

— «Дурачок...»

— «Все молчит...»

— «Не имеет суждений своих...»

— «Ну, Котик, скажи что-нибудь...»

— «Отчего ты молчишь?»

Но, бывало, во мне все сожмется: становится почкою; не умею высказать

ничего; все-то думаю: что бы такое придумать: —

— слова — кирпичи: чтобы выразить нужно упорно работать мне в поте лица над сложением тяжко-каменных слов; взрослые люди умеют проворно сложить свое слово.

И слышу:

— «Да он не имеет суждений...»

И я становлюсь на карачки: виляю им хвостиком, — к спинке приложенной ручкой.

И слышу:

— «Вот видите?»

— «Я говорю...»

— «Обезьянка какая то».

Мне так больно!

.

Многообразие положений сознания относительно себя самого все танцует, бывало, безобразным, веющим смыслом: летает своим многокружием, как ясным диском во мне; и — размыкается дугами; мысль течет выстрелом странных ритмов; вздрагивает все мое существо: безответно, мгновенно взрывается, не разрешается образом; и — улетает сквозь окна.

В голове моей ветер — всегда: повествует мне ветер в трубе: о летающем космосе.

— Ну-ка, ну-ка — скажи.

Немота тяготит.

Что сказать?

— «Глупый мальчик: не развит!»

А как мне развиться? Мамочка запрещает развиться; развитие — страшно; быть — глупеньким мне.

Я поплачу.

Штанишки не в пору: теснят они, жмут меня; хожу я мапросом — с огромным и розовым якорем, но... без слов; и отвечая на ласки, я трусь головою о плечи; из под бледно-каштановых локонов дозирую я мир: о, как странно!

Нет, не нравится мир: в нем все — трудно и сложно.

Понять ничего тут нельзя.

Беатриса Павловна Безбардò.

Тетя Дотя — бедная; и — бедная бабушка; мне их жаль: бедные — тетя Дотя и бабушка!

А были — богатые.

Оттого то они все у нас: и обедают, и ночуют; то — одна, то — другая; а то — обе вместе; и — ссорятся вместе; мы то вот: ночевать никуда не пойдём...

Тетя Дотя на службе, на Брестской железной дороге; и ходит на станцию — ночевать: через два дня — на третий; а

бабушка вяжет косынки: костяными крючками; и когда пуст наш дом, у нее в глазах пойдут пятна; и вот только по этому она потянется в кухню: заводит тары-бары:—о том, как она была... в соболях и в какие ленты рядилась, и в какие кареты садилась, и как из Ирбита она получала в подарок меха чернубурой лисицы —

— бабушке выход на кухню был нашей мамочкой воспрещен; но, бывало, бабушка в кухне Петровича, Афросиньина мужа, угащивала табачком, раскуряемой «путаной крошкой».

Тетя Дотя и бабушка проживают в квартирке о трех только комнатах, платят двадцать пять рублей серебром, да еще — с дядей Васей, с чиновником; он ходит в Палату с портфелем под мышкой, с кокардою на околышке козырька и с двумя бакенбардами; его прозвище — англичанин; он еще все выпивает... с Летковым; и этот самый Летков,— роковой человек.

Дядя Вася приходит к нам редко: устраивать контры и обозвать генеральшею... нашу мамочку; это просто не то; просто чорт знает что; это все — Беатриса Павловна Безбардó; и — говорят на ушко.

А что «это все», о чем на ушко?

Беатриса Павловна Безбардò?

И никто — низачто: а не то — произойдет замешательство: тетя Дотя надеется и жалобным голосом примется нам описывать печальное положение своей жизни; а бабушка — плачет.

Папа же — им обоим:

— «Вы, Василиса Михайловна, да и вы, Евдокия Егоровна, — вы, скажу вам, вы Василия-то Егорыча, знаете, оставьте в покое; он — молодой человек; «это все» — так в порядке вещей; и потом — это «все» так давно».

А вот что «это все?».

Весна.

Пропемнели халвою снега; и была всем халва: на лотках у разносчиков; и утеплили сосульки на капельках — в слякоть; саночки задевали полозьями слякоть; гнулись старые спины извозчиков в слякоть; и воющим ветром валилось пространство — на землю; и земной шарик бежал во всем этом.

Очень страшно: что делать?

Прослякотился и Арбат; уже он обсыхал; отколотили палками мебель; пожичком отскоблили замазку, вынули ста-

канчики с ядом и валики с ватой; вымыли нам окошко, и солнце заширилось блесколетней за стеклоглазым окошком; огромные краснороги заогневели за крышами — под вечер. Погрохатывало.

Раз прошел дождичек: позеленели все крыши, а тугопучные почки открылись — на красноватых жердях, за забориком, где пёсик пёсику пробовал усесться на спину: позеленели все жерди; и закричало на нас: Дорогомилово — грохотом; и спало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки; поехала пестрая фура: «Шиперко»...

Раз стояли мы на железном мосту над бутылочной мутной водой, раздробленной в громкие белоспруи; я бросил весенний подарочек, зайчика — туда в белоспруи; и плачущим привели меня к бабушке, где дядя Вася с Лепковым продолжали уписывать кашу с маслом, а черноглавый Лепков из-под гуши усов засверкал нам глазами.

Мамочка говорила им всем про плохую московскую мостовую и разгораясь щеками, вспоминала она Петербург: —

— какие красоты там, какая торцовая мостовая, какие гусары, как они говорят, что едят — у Поликсены Бори-

совны и у Большого Медведя; рассказала про Мариинский театр и про то, как она налила стакан чаю Великому Князю и как Великий Князь играл в карты... —

— Бабушка напирала «Путаной Крошкой» — табачком — шелестящую пачечку гильз, а тетя Дотя — моргала глазами, вздыхала: на железной дороге ей нет: — Петербурга; и нет ей — гусаров; телеграфистки — вообще ужасно не ком-иль-фо, а телеграфисты — нахалы. Вот уже принесли калачи; дядя Вася — представьте, — без всякого грубиянства стал тихонько наигрывать на гитаре:

«Наклонишь ты свою головку,
«И на него поглядишь;
«Но знаю я твою уловку
«Ты только ревность мою дразнишь». —

— А

Летков, из-под гуши усов меланхолически подпевал: вот уже они переглянулись и надели пальто.

Мое новое платье — жмет; и мне грустно; и я — вспоминаю: погибшего зайчика; вспоминаю и то, что нам у нас расставлены сундуки, что туда уложено очень многое; что-то нам приготовлено; что-то будет — не знаю:

ветрами повалили пространства; уж и гремело над нами; и земной шарик бежал — во все это. Мне очень странно.

Мрак неизвестности.

Знал ли я, что опять мы поедем... — в Касьяново: в изумрудные, кипящие кущи — и к изумрудному пруду, где бегут стальные отливки под липы и ивы; —

— и какие пойдут пироги нам с грибами! —

— где с огромной террасы под ясными днями будем мы распивать молочко, где самый воздух не воздух, а резедовый настой; где бегут облака — кудластые, растворенные, ясные, а то дымные, с громом — к бирюзеющей дали, а в воздухе хрусталеет над прудом трескучее крыло коромысла; где из зелени встала — стародавним каменным шлемом и моховатым лицом: однорукая статуя со щитом; где желтеют маслята и где композитор Чайковский проживает от нас в четырех верстах: в Фроловском; где Иван Иванович Касьянов в горьком запахе роз проповедует нам печально про восстание всех против всех и про то, что нас всех перережут; где по огромной аллее, по-

трясая в воздухе дурандалом, ожесточенно забегает папа, несогласный на то, чтобы нас перерезали; где по ночам завывают собаки и совы, а над могильным крестом возникает покойный полковник Пупонин и тихо несетя в кустах на Касьяновский парк.

Знал ли я, что —

— придет к нам офицер с эполетами, из города Витебска, что надевши белый свой туго-стянутый китель будет он проходить в старый парк и рассказывать всем, как за месяц поправился он в касьяновском воздухе, и отмахнувшись пахучей акацией от танцующих комаров, позабавит нас анекдотами о командире полка и о витебской барышне.

Знал ли я: —

— что под самую осень, когда по дорожкам закружит шурша, желтолистные и красноглазый осинник зареет на небе стеклянном, когда —

— проступают холодные пятна под окнами каменной дачи и цокает красная белочка, —

— офицер с эполетами прихворнет —

— и уедет от нас,

вдруг на что-то надувшись, с болезнью седалищных нервов... в свой Витебск; и мы переедем за ним: на Арбат.

Воспоминание о Касьянове в это лето мне бледно; оно связано более всего с игрою в крокет офицера, с отплясыванием им лезгинки по вечерам, пред зажженным огнем и с болезнью седалищных нервов, которой боялся я долго.

Распятие.

Мне бессказочно все в этот год, но я переполнен какой то невнятной правдою; провозгласи ее я, — и огромное Слово опустится: в слово мое; и — новые блески зажгутся; и ко мне склоненные старики — папа мой, Полиевкт Андреич Дадарченко, Федор Иванович Буслаев, Сергей Алексеевич Усов, мой крестный, — огромную правду мою понесут по мирам: затрясут очкастыми головами; и — рывкнут:

— «Воистину так это, Котик!»

Но — нем: —

— Правду высказать невозможно: она горит в сердце, к которому опускаю глаза — опускаю: смотреть себе в грудь: во мне подымается жест; две ладони под'емяют мне... воздух: у сердца; и этот воздух мне — сладкий.

Он — веет в лицо мое.

Чем?

.
Взрослые говорят обо мне; тетя Доля и Серафима Гавриловна представляются мне очень злыми: они ненавидят огромное Слово, которое спустится в слово мое (я не знаю, когда это будет); распнут меня —

— о распятии слышал я.

Старики подбежали ко мне; и чего-то ждун; окружают меня добродушною ласкою, вынуждая меня преждевременно развиваться; Полиевкт Андреич Дадарченко мне поет:

— «Ша-ша-ша: анпрашà!»

А Федор Иванович Буслаев в щетинистой шубе приносит мне сладкой пастилки; подносит мне папа букварик.

И — старческий шепот стоит вокруг меня: и мне кажется, что вот-вот они склонятся передо мною с дарами, — таить, молчать, вспоминать, какую то древнюю правду, которой касаться нельзя, которую вспоминаешь безропотно, вспоминаешь тогда —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о добре и о зле.

Папа, Федор Иванович, Сергей Алексеевич Усов составили себе представление

об Еве и древе; и ждут от меня подтверждения своих слов; воображаю впоследствии я себя стоящим средь них; и мне видится жест мой: —

— стою, опустивши ресницы: и — с бьющимся сердцем; две ладони — ладонь под ладонью! — все силятся приподнять в сердце данное слово: мне к горлышку; в горлышке что-то теснит; и слеза ясно зреет; но слово — неподнято; в полуоткрытый мой ротик повеяло сладким ветром моим: две ладони приподняли к роту — только воздух пустой: слова нет; я — молчу... —

— И мне грустно: я ничего не скажу; еслибы я и сказал, то слова мои обманули бы их, отвергая дары; потому что я знаю, что знаю: мне кусочек рябиновой пастилы не говорит ничего; пастила будет съедена; и от этого ничего не случится; скажи это я, — знаю я — огорчится мой друг, Федор Иванович Буслаев; и как сказать папочке, что букварик его непонятен и чужд вовсе мне (откроешь — беззвучно пурпурится буква: н а у к а б е з з в у к а); Как сказать мне, что клоунчик вырос огромнейшим Клёсей и погасил все огни: погасил древо жизни под веками, что

чудесная весть — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о добре и о зле! — лишь пустой особняк в глубине Трубниковского переулка...

.....

Я себя вспоминаю поникшим: мне грустно; дары окружающих меня ласкою греющих стариков лишь обломки... рухнувших космосов и стародавних громад, о которых давно повествует мне ветер в трубе, что их — нет: и туда, в это «нет» побежал земной шарик; букварик мне их не вернет.

.....

Между тем: уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова, обижены ожиданиями; и когда они не исполнятся, то есть, —

— когда косматая стая старцев, шепчась, и одевая печально шершавые шубы, уйдет от меня, то —

— то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту.

.....

О распятии на кресте уже слышал от папы я.

Жду его.

ЭПИЛОГ.

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница расширений моих; по ступеням ее я всхожу... к ожидающим, к будущим: людям, событиям, к крестным мукам моим; на вершине ее — ждет распятие; мое платье из пунцового шелка, отсюда, из этого мига, мне кажется: багрянницей моею; мне кажется: я тащу на себе деревянный и плечи ломающий крест; стая воронов обгоняет меня, задевая крылами; в клювах их все железные гвозди: проткнутый, я повисну на них; представляется мне: ветер рвет багрянницу; под бременем падаю я; у ног моих яма; с годами она зарастает невнятными правами.

Ступень за ступенью открыта мне спереди:

Ожидают меня.

Ожидают меня: мои новые миги; и — новые комнаты —

— комнаты, комнаты! —

— из

которых назад мне вернуться нельзя: и глаза мои расширяются; и — невидящим взором гляжу я в пространство: происшествия нарастают деревней и временем года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история; изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней... будет крест; я поставлю его: будет он мне последней ступенью к огромному миру; на нее... должно взлесть; под ногами моими мне будет сумятица жизни, толпа, на которую буду взирать я невидящим взором, обнимая руками огромные перекладыны дерева.

Мое слово могло бы родиться не прежде.

Пройдут за ступенью ступень: миг, комната, улица, происшествия времен года, Россия, история, мир.

Это все — впереди.

Позади же действительность, о которой я думаю ныне, что она — не действительность; но она и не сон.

— «Что все это?»

— «И — где оно было?»

.

Если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях, еслиб в темное

это место взшло полноумие моих будущих дней и осветило бы мне восстание моей младенческой жизни, тогда бы —

— В

месте сознания бы оказался провал; сознания в нашем смысле, где —

— (что

то мучилось красным пожаром, в мучении вспыхнуло «я» — мое «я», исходя в окрыленных огнях, как в крылах) —

— вспыхнуло Солнце, Око, и меня отпоргнувши, из меня излетело, оставив связь блесков, между собою и мною: мои комнаты Космоса!

Мои комнаты Космоса мне остались под веками долго: в годах угасали они. Они вспыхнули — после.

.
Я прошел состояние тепловое: внутри его вспыхнуло Солнце; снялось, взлетая ясным диском и освещая меня, как луну — стародавними мифами; внутри них вытверделась земля: в ней живет ныне «я».

.
Знаю я, — будет время: —

— (когда оно
будет не знаю) —

— буду раз'ятый в себе,

с пригвожденным, разорванным телом, душою, — в разрывы страданий моих устремлять долгий взор; задымятся события мне стародавними клубами; отверденный мой корост рассядется на-двое: и полукружие снов вновь нальется: ясным диском; полетит ко мне диск (будто бросится солнце на землю), сжигая меня.

Вспыхнет Слово, как солнце, —

— это бу-

дет не здесь: не теперь.

Самосознание мое будет мужем тогда, самосознание мое, как младенец еще: буду я вторично рождаться; лед понятий, слов, смыслов — сломается: проростет многим смыслом.

Эти смыслы теперь мне: ничто; а все прежние смыслы: невнятица; шелестит и порхает она вокруг древа сухого креста; повисаю в себе на себе.

Распинаю себя.

Стая воронов черных меня окружила и каркает; закрываю глаза; и в закрытых ресницах: блеск детства.

Перегоревшие муки мои — этот блеск.

Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ЭПОХА“

Склад изданий: Петербург, Невский, 57.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.

Котик Летаев. Роман.

О смысле познания.

Поэзия слова.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН.

Избранные стихотворения в переводе ФЕДОРА
СОЛОГУБА.

М. О. ГЕРШЕНЗОН.

Ключ веры.

Судьбы еврейского народа (*печатается*).

ЕВГ. ЗАМЯТИН.

Герберт Уэллс (*распродано*).

Чрево. Землемер. Рассказы (*распродано*).

ВСЕВ. ИВАНОВ.

Цветные ветра. Повесть.

Лога. Рассказы. (*распродано*).

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ.

Четвертый Рим.

ИВАНОВ - РАЗУМНИК.

Заветное.

- I. „Черная Россия“.
- II. Вечные пути (*печатается*).

Скифское.

- I. Иго войны (*печатается*).
- II. Две России (*печатается*).

ФЕДОР СОЛОГУБ.

Заклинательница змей. Роман.

Соборный благовест. Стихи (*распродано*)

Чародейная чаша. Стихи.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.

Статьи о русской поэзии. Книга I.

К. И. ЧУКОВСКИЙ.

Книга об Александре Блоке (*распродано*).

Книги о Некрасове:

1. Некрасов как художник.
2. Поэт и палач.
3. Жена поэта.

ОЛЬГА ФОРШ.

Индрыгин Сказ (*распродано*).

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ *(вышли из печати)*.

Джек победитель великанов, с рисунками
В. Замирайло.

О глупом царе, с рисунками В. Ходасевич.

Похождения Чучло. Рисунки и текст В. В.
Лебедева.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ.

Слоненок, с рисунками В. Лебедева.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.

Загадки, с рисунками В. Замирайло.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Петербург, Невский пр., 57.